

# Запасной инстинкт

**Автор:**

Татьяна Устинова

Запасной инстинкт

Татьяна Витальевна Устинова

Арсений Троепольский признавал в жизни только одно – работу. Она была его пищей, его возлюбленной, его развлечением. Дизайнерская компьютерная фирма, которую он возглавлял, процветала. И вот внезапно гром грянул среди ясного неба. Убили зама, гения дизайна – Федора Грекова. Самое ужасное, что его труп нашел... Арсений. Отсидев три дня в кутузке как главный подозреваемый, он наконец появился в конторе, но возвращение к любимой работе его отнюдь не обрадовало. Пытаясь понять, за что убили Федю, он обнаружил, что все вокруг лгут – сотрудники, любовница, сестра и племянница покойного. Но его мозг, работающий как компьютер, все разложил по полочкам. И гора лжи рухнула и погребла под собой всех «достойных»...

Татьяна Витальевна Устинова

Запасной инстинкт

Плохо работает тот, кто, взявшись смастерить лопату, сооружает ракету.

Станислав Лем, «Апокрифы»

...И пришлось ему под вечер тащиться на самую окраину Москвы, черт знает куда.

Снег пошел, мелкий, февральский, рассыпчатый. «Дворники» гоняли его по стеклу туда-сюда, и снег ссыпался за капот. То так, то эдак прилаживая спину к неудобному автомобильному креслу, он смотрел, как отскакивают от мокрого капота мелкие белые шарики, слушал брэнчание гитары и нестройное хоровое пение, называемое почему-то «бардовским», и злился ужасно.

Он очень не любил впустую проводить время – а нет ничего более бессмысленного, чем сидение в пробке в час пик, – и никогда не уезжал из конторы, когда уезжали все. Он вообще почти не уезжал с работы. Он только и делал что работал.

Машина – «восьмерка», принадлежавшая конторе, – как все «общественные» машины, была раздолбанной, неухоженной и грязненькой. Кресло все время перекашивалось влево, и Арсению приходилось ерзать, подсакивать, корректировать собственной спиной заваливание проклятого кресла. Зеркало заднего вида торчало прямо перед носом, и в нем отражался именно нос, а вовсе не оставленные позади конкуренты из очереди на светофор.

Потом зазвонил телефон. Одной рукой придерживая руль, другой он стал шарить по карманам, а всем известно, что нет ничего хуже, чем лезть правой рукой в левый карман толстой куртки. Сначала он просто пыхтел, потом начал тихонько материться, потом стал материться во все горло.

Телефон звонил. Распроклятое «бардовское» пение в приемнике все продолжалось.

– Да!!

Молчание.

– Черт побери, алло!

– ...Арсений?

– Да.

Молчание.

Тут он вышел из себя. Все, происходившее с ним сегодня вечером, на «Цыганочку» с выходом пока не тянуло, а тут потянуло.

Арсений Троепольский длинно, витиевато и душевно послал подальше звонившего, швырнул телефон на соседнее кресло, вывернул руль, «подрезал» какого-то смиренного и большого дяденьку на «Мерседесе» – гиппопотам тормознул так, что содрогнулось все его тяжелое металлическое тело, злобно и страшно взвизгнули тормоза, – выехал на разделительную и дал по газам.

«Восьмерка» затарахтела и стала медленно разгоняться. Встречные машины бешено мигали фарами.

Телефон на соседнем кресле опять зазвонил и звонил долго. Арсений на него косился, решив, что отвечать ни за что не станет, но тут разделительная полоса кончилась, и прямо перед носом воздвигся светофор. Под ним ходил гаишник с палкой и зелеными полосами поперек толстого из-за ватника туловища.

Арсений решил, что для полноты картины ему не хватает только склоки со стражем дорог, и метнулся вправо. Сзади отчаянно засигналили и опять замигали фарами – они же не знали, что он ненавидит «Цыганочку» с выходом! Телефон звонил.

Покорившись, Арсений Троепольский преувеличенно осторожно взял трубку, посмотрел на нее и аккуратно нажал пальцем в центр круглой кнопки.

– Да.

– ...Арсений?

– Меня зовут Сидор Семенович, – выговорил он любезно. – Вы ему звоните?

– Я звоню Арсению Троепольскому, – растерянно выдохнула трубка, напуганная «Сидором Семеновичем».

Он уже все понял, конечно. Звонила его новая секретарша, только что поступившая на работу вместо старой. Старая – на самом деле довольно молодая – неожиданно ушла в декрет.

– С ума сошла! – заорал он, когда Варвара Лаптева, прежняя секретарша, сообщила ему, что должна родить буквально на днях. – Тебе что, делать нечего?!

Варвара непочтительно захохотала и уверила шефа, что родит на этой неделе, а на следующей выйдет на работу.

– Как же! Дождешься теперь тебя! А я? Ты обо мне подумала? Что я должен делать?!

– Совсем ополоумел, – обиделась Варвара. – Что он теперь будет делать! От вас, мужиков, с ума можно сойти. Другую себе найдешь.

– Да где я возьму другую?!

Другая откуда-то взялась, села на Варварино место, к Варвариному компьютеру, и его худшие опасения сбылись – она оказалась непроходимой дурой. Или ему хотелось, чтобы она оказалась непроходимой дурой, чтобы, так сказать, ничто не мешало ему во всей полноте каждый день осознавать меру своего несчастья?

Помимо всего прочего, у новой секретарши было еще изумительное имя – Шарон.

Шарон Самойленко, вот как ее звали.

Троепольский подозревал, что декретная Варвара специально нашла ему Шарон, чтобы он в отсутствие ее, Варвары, особенно не расслаблялся. Или это Полина нашла, вернейшая Варварина подруга?

Они подруги, а он сиди теперь с дурой в приемной!

– Так, – сказал он в трубку и посмотрел на белые шарики, прилеплявшиеся к мокрому капоту, – что вы хотите мне сказать, уважаемая Шарон?

Секретарша радостно оживилась и задышала свободней.

– Ой, вы меня узнали, да?

– Ой, узнал! – тоже радостно признался Арсений. – Ой, как я вас узнал!

Секретарша опять испуганно примолкла, и он понял, что конца телефонному шоу не будет. Гаишник, повернувшись полосатым фосфоресцирующим боком, пропускал машины с противоположного направления. Автомобильному шоу тоже не было конца.

– Арсений, вам звонил Иван Берсенев. – Фамилию она выговорила почти по складам, хотя ничего особенного в ней не было, самая обычная фамилия, но и такая Шарон Самойленко затрудняла.

– Очень хорошо, – подбодрил секретаршу Арсений, – прекрасно. Что он сказал?

– Ничего, – пробормотала та. – Он сказал, что перезвонит вам на мобильный.

«Информация первый сорт, – решил Троепольский угрюмо. – Завтра уволю ее к чертям собачьим. У нас не богадельня».

– Большое вам спасибо, – сказал он со всей вежливостью, на которую только был способен в настоящую минуту. Гаишник остановил поперечный поток, и Арсений, пошарив ногой, нащупал педаль газа. – Я хочу попросить вас, чтобы вы больше мне не звонили.

– Как?! – тягостно поразились бедная Шарон.

– Не звоните мне! – кротко попросил он. – Я через два часа вернусь. До моего возвращения мне не звоните. Договорились?

В ухо закололи гудки параллельного вызова, и Шарон он отключил.

– Да!

Звонил тот самый Иван Берсенев, муж той самой Варвары Лаптевой, так некстати собравшейся рожать.

– Я звонил тебе в офис, – сказал Иван, словно продолжая разговор. – Там никто ничего про тебя не знает.

– У меня секретарша идиотка, – признался Троепольский неохотно. – Я только что с ней разговаривал и чуть не умер.

Иван Берсенева помолчал.

– Ты сегодня еще будешь на работе?

– Не знаю, а что?

Тут Троепольский вдруг сообразил, что Иван, один из самых крупных его клиентов, звонит, очевидно, не просто так, и встревожился.

«Просто так» Иван не звонил никогда, соблюдал некоторую дистанцию, даже несмотря на Варвару.

– Что-то... случилось?

– Варвара просила передать, что договоры с промышленниками, ты знаешь какие, у нее в компьютере, но не в папке «Договоры», а в папке «Дизайн». Она волновалась, что ты станешь искать и не найдешь.

– Спасибо, – осторожно сказал Арсений. «Восьмерка» ползла теперь в крайнем левом ряду, полосу черного неба загораживал грузовик, тащившийся впереди. – А почему она сама не позвонила?..

– А сама она занята. Разговаривать никак не может.

Только дурак не понял бы, о чем речь. Арсений Троепольский был не дурак, но зачем-то сделал вид, что не понял.

– А она... где?

– Мы... в больнице. Все еще только начинается, и она волнуется за дело.

Троепольский помолчал, а потом сказал:

– Ужас какой.

– Это точно, – согласился Иван. – Уже сейчас... страшно, а что будет дальше, не знаю.

Тут Арсений спохватился, что будущего отца следует утешать и отвлекать, хотя он один из самых крупных клиентов, и понес какую-то ерунду относительно того, что все будет хорошо, но Иван Берсенев не стал его слушать.

– Я пообещал ей, что позвоню, и позвонил. И... мне нужно возвращаться.

– Конечно-конечно, – испуганно согласился Арсений, – ты передавай ей... привет.

– Передам.

– И позвони, как только... Сразу позвони, ладно?

– Попробую.

Арсений опять кинул трубку в соседнее кресло и переполз в правый ряд. Быстрее он не поехал, зато открылось черное небо, подсвеченное городом, как будто северным сиянием.

Арсений покосился на молчавший телефон.

Как все странно.

Он стоит в пробке с тысячами других страдальцев, смотрит в небо и слушает поганые «бардовские» песни, а кто-то в это время рождает детей.

...Ехал Ваня на коне,

Вел собачку на ремне,

А старушка в это время

Мыла фикус на окне.

«...А старушка в это время... В это время...»

Такой сегодня день. Станный.

Федя, первый зам, не вышел на работу. На телефонные призывы и электронные письма тоже не отзывался. Так уже не раз бывало – Федя, как человек исключительного творческого полета, позволял себе и не такое, – но в данный момент ждать, когда у него закончится кризис, или что там у него началось, не было никакой возможности. Творческий Федя вчера, уезжая с работы, прихватил с собой коробочку с печатью. Непонятно, как она к нему попала, ибо Арсений все и всегда от Феди прятал – тот тащил в свой громадный засаленный портфель, что попадалось ему под руку, а попадалось ему многое. Арсений, несколько раз подряд терявший нужные бумаги, ключи от дома, телефоны и всякое такое, вскоре стал прятать все от своего первого зама.

С утра печать пропала. Везде искали, не нашли, Федя тоже не появлялся – с ним еще и не такое бывало! Варвара, все и всегда знавшая, в том числе и где вторая печать, ушла в декрет. Помочь никто не мог.

Арсений, который отродясь никакими печатями не занимался, полдня тихо бесился за распахнутой дверью своего кабинета – на двери заводская табличка, гласившая, что здесь находится «Отдел машин для обогащения». Он даже толком не помнил, откуда у него эта табличка, что за отдел?.. Но ему нравились всякие такие штуки, и он искренне забавлялся, развешивая их по стенам.

Печать так и не нашли, и, где взять Федю, тоже не знал никто. У него был некий адрес, по которому он был прописан с сестрой и племянницей и уже лет десять там не жил, снимал какие-то халупы в спальных районах, хотя заработанного им хватило бы, чтобы купить небольшой домик в дивном местечке под названием «Коста-Браво». Но Феде было искренне наплевать на все дивные местечки в мире, вместе взятые. Его интересовала только работа.

Под вечер наконец выяснили, что о местоположении Фединового логова знает единственный человек в конторе – начальник. Начальник, в свою очередь, сообразил, что ни одному водителю, не зная точного адреса, он не объяснит, где повернуть налево, где направо, где чуть наискосок, а потом во двор, а из двора сразу в арку, а из арки до угла, а за углом... Короче, начальник поехал сам.



Мы едем, едем, едем

С начальником вдвоем...

Мы едем, едем, едем

И песенку поем.

С песенкой тоже не повезло – гитара все брэнчала, голос с придыханием выводил что-то про свечу. «Свеча», ясное дело, была срифмована со словом «горяча», ни с каким другим по законам этой самой «бардовской» песни она не могла быть срифмована – иначе песня не могла бы считаться вполне «бардовской».

Как переключить приемник, Троепольский не знал, потому что обыкновенно, кнопкой, он не переключался.

Поток машин пошел порезвее, то ли дорога стала шире, то ли они поразъехались в разные стороны. Снег все летел, мелкие февральские шарики, будто рассыпанные из гомеопатического пузырька.

«Старуха-зима рассыпала, – вяло подумал Троепольский. – Старая-престарая старуха, невесть от чего лечившаяся гомеопатическими шариками».

Он повернул налево, потом направо, чуть наискосок, во двор, а из двора сразу в арку, а из арки за угол.

Он долго искал, куда бы втиснуть машину, втиснул, и очень неудачно. Рядом маячила батарея помойных контейнеров, которые невыносимо воняли, и мусор кучами и грудями был навален вокруг, съезжал почти под колеса машины. Под щегольским итальянским ботинком Арсения что-то отвратительно захрустело, словно он раздавил скорпиона. Пола светлой куртки мазнула по грязному борту ящика, остался коричневый след. Арсений стал отряхиваться и только все размазал.

Стараясь не дышать слишком глубоко, он протиснулся мимо ящиков, задрал голову и посмотрел на дом. Черт его знает, то ли второй подъезд, то ли третий.

Арсений решил, что второй, – и ошибся. Только зря лез наверх – лифт то ли работал, то ли не работал, он так до конца и не понял, но ехать не решился. В предполагаемой Фединой квартире ему открыла какая-то деваха и фыркнула, когда оробевший Арсений осведомился о Феде.

– Какого тебе Федю?! Федю ему! Федя съел медведя, а у нас нету никакого Феда!

– Простите, пожалуйста, – пробормотал Арсений, подаваясь назад.

– Еще пожалуйста! Спасибо! Всем сегодня Федю подавай!

Троепольский предпочел в дискуссии не вступать, быстренько скатился на девять этажей вниз. Деваха сверху еще что-то выкрикивала.

– Пошла к черту, – пробормотал Троепольский себе под нос.

В третьем подъезде был кодовый замок, а номера квартиры он не знал, конечно. Знал, что на девятом этаже, первая дверь справа, и долго маялся, высчитывая номер. Высчитал, набрал номер домофона, устройство запиликало и пиликало долго, но дверь не открывалась. Кризисный Федя вполне мог и не слышать никаких звонков.

Троепольский сбежал с обледенелого бетонного крылечка, поскользнулся, чуть не упал и, задрвав голову, посмотрел вверх, на каменную громаду, усеянную желтыми каплями освещенных окон. Что делать дальше, он решительно не знал.

Контора не может жить без печати – если это нормальная контора, разумеется. Федя, впавший в кому, вполне может дверь не открыть, даже если в конце концов удастся попасть в подъезд. Варвара была занята – рожала – и освободится еще не слишком скоро, если он, Арсений Троепольский, хоть что-то понимает в этом многотрудном процессе.

Главное, все договоры повисли, и клиентам не объяснишь, что во всем виноват Федя, у которого привычка совать в портфель все, что под руку попадет, и время от времени впадать в транс!..

Замок на облезлой железной двери щелкнул, и на крылечко вывалились подростки в куртках нараспашку и по-модному спущенных штанах. У каждого в каждой руке – по бутылке пива. У некоторых по две.

Двадцатидевятилетний Арсений Троепольский, удачливый и расчетливый бизнесмен, придумавший себе профессию, каких свет не видывал, приобретший скверную привычку работать от зари до зари и кучу денег в придачу к данной привычке, переждал, пока они скатятся с крыльца, и перехватил тяжелую, медленно закрывающуюся дверь.

Диалектических противоречий ему не хотелось, а такие запросто могли воспоследовать, если бы он пошел напролом, как ходил всегда и везде.

Он носил очки, имел слишком надменный вид и слишком презирал пиво и спущенные штаны, как образ жизни, чтобы выразители данных идей просто не обращали на него внимания.

Поэтому он благоразумно переждал. Ну их на фиг.

В этом подъезде лифт работал, и лезть по ступеням не пришлось.

Пластмассовые двери, исчерканные чем-то черным и гадким, разошлись, и он шагнул на площадку. Первая дверь справа. Вот она.

Воняло застарелыми «бычками» – от банки, прикрученной проволокой к перилам. Окурков в ней было вровень с краями, из середины поднимался едкий серный дымок. Надписи на стенах сообщали о музыкальных и любовных пристрастиях авторов, их друзей и подруг.

Вот, черт побери, правила человеческого общежития!.. Самое первое и главное – если не можешь переехать за свой отдельно взятый забор с воротами и висячим замком, придется тебе каждый божий день нюхать чужие «бычки» и знакомиться с музыкальными и любовными пристрастиями всех, кому заблагорассудится написать о них на стенах, полах, потолках, подоконниках, ступеньках того самого места, где ты живешь.

Арсений Троепольский ненавидел свинство, хотя и делал вид, что ему на все наплевать.

Первая дверь справа явственно свидетельствовала о том, что за ней находится жилье внаем, – краска облезла, замочек хлипкий, коврика вовсе нет.

Троепольский позвонил. За жидкой дверной фанеркой звонок прозвучал неожиданно громко, будто прямо на площадке. Никто не отозвался, и он снова позвонил. Звонок опять колыхнул подъездную тишину, слегка разбавленную телевизионной стрельбой, магнитофонной гульбой и человеческой удалью.

На этот раз Троепольский почему-то насторожился. Что-то вдруг обеспокоило его, и, толкнув дверь, он понял, что именно.

Дверь не была заперта, и, весь подобрравшись, Троепольский увидел, как раздвигается черная щель, и темнота квартиры вползает в скудный свет лестничной площадки, смешивается с ним и становится похожей на разбавленные чернила.

Он посмотрел в чернильную лужицу, оперся о притолоку и громко позвал в щель:

– Федя! Ты здесь?

Никто не отозвался и, рассердившись на себя за невесть откуда взявшийся страх, от которого стали влажными ладони, он толкнул дверь – она и не подумала скрипнуть, а он почему-то ждал скрипа.

– Федя! Федь, ты живой?!

Хуже всего было то, что заходить в квартиру ему не хотелось – не хотелось, и все тут, хотя этому не было никаких логических объяснений. Он посмотрел на свои пальцы в перчатках, вцепившиеся в дверь, заставил их разжаться, просунул руку вглубь и зашарил по стене. Ничего не нащупывалось.

Где в этой дурацкой квартире включается свет, а?

Квартира стандартная, сдаваемая внаем, значит, вряд ли кто-то здесь менял проводку и переносил выключатели. С правой стороны, чуть выше пупка, чуть

ниже грудной клетки, непременно должен быть пластмассовый квадрат.

– Федя!

За спиной в бетонной шахте загрохотал лифт, поехал вниз. Арсений просунул руку поглубже, и свет наконец зажегся. Он даже зажмурился на секунду – так неожиданно это было. Квадратная передняя с вешалкой и резиновым уличным ковриком под ней материализовалась из черной пустоты. На вешалке болтались Федино кашемировое лондонское пальто, мятое и пыльное, и куртка с капюшоном такой формы, словно в нем долго носили ведро, а потом вынули.

– Федь, ты где?!

«Вряд ли он ушел и оставил дверь открытой, – быстро подумал Троепольский. – При всех странностях он все же вполне нормальный человек, а дома у него техника, стоимость которой вполне может сравниться со стоимостью этой квартиры».

Направо был коридорчик в два шага, налево, кажется, кухня.

– Федя, черт тебя возьми!

Троепольский заглянул в кухню – голое окно, нагромождение какой-то посуды на столе, козлоногая табуретка, черная тень от нее лежала на линолеуме, и никакого Феде.

Ощущение опасности стиснуло горло, а потом стекло вниз по спине. Волосы на затылке встали дыбом.

Что-то размеренно капало в глубине квартиры, и ему казалось, что капает у него за спиной, а там ничего не могло капать! Он нетерпеливо повел шеей, трусливо кося глазами за плечо. Щека, шершавая от вечерней щетины, прошуршала по воротнику куртки, ему показалось, что прошуршала очень громко.

Какой-то посторонний звук, Арсений явственно расслышал. Какой-то очень странный повторяющийся посторонний звук.

Шипение? Шорох?

Он резко повернулся и настороженно обвел глазами квадратную переднюю. Все та же куртка, тот же коврик и разномастные ботинки, наваленные горой в углу.

Троепольский потер затылок, стараясь ослабить давящий обруч паники, и сделал два шага, преодолев коротенький коридорчик.

В комнате было совсем темно, даже не слишком понятно, есть ли там окно, и если есть, то где оно. Правой рукой он опять зашарил по обоям.

- Федя! Ты тут или тебя нет?!

Собственный голос показался ему чужим, и в тишине, которая наступила после этого бессмысленного вопроса, Арсений снова услышал тот самый размеренный звук. Он стал ближе и явственнее.

Что-то здесь не так.

Надо уходить отсюда. Прямо сейчас. Надо выйти на лестницу и вызвать милицию.

Пальцы вдруг наткнулись на пластмассовый квадрат, и в эту секунду в кромешной темноте, к которой уже стали привыкать глаза, произошло какое-то движение, словно сгусток тьмы метнулся на него. Метнулся... и задел. Арсений отшатнулся, чувствуя, как от первобытного страха пустеет в голове, и что-то слабо ударило его в висок, как будто смазало. Очки упали, и, кажется, он наступил на них. Темный силуэт рванулся мимо него, и за спиной погас свет. Стало черно.

Отдаленный удар, размеренная дробь, и больше ничего.

Совсем ничего.

Без очков в темноте он ничего не видел – вот такая особенность его зрения. Он не был фатально близорук, так, слегка, как все много читающие и пишушие люди, но в сумерках становился слепым, как крот.

Впрочем, говорят, что крот, хоть и слеп, все же как-то ориентируется в темноте. Арсений Троепольский в темноте мог только стоять. Двигаться не мог.

Размеренный звук, к которому он прислушивался десять секунд назад – нет, не десять, какие там десять, три секунды назад! – пропал и больше не повторился. Спина и ладони были мокрыми.

Черт побери все на свете, что здесь происходит?!

Рассердившись на себя за свою панику, беспомощность и еще за то, что ничего не видит, он снова зашарил по стене, нащупал пластмассовое и квадратное и нажал.

Свет послушно зажегся. Слово все в порядке. Будто так и надо.

Большая квадратная комната. Облезлый шкаф, коричневый диван, обои на каждой стене разные. С правой стороны – громадный письменный стол со стеклянной столешницей, неуместный до такой степени, что хотелось протереть глаза. Стол сверкал почти операционной чистотой. На нем – жидкокристаллический монитор, сделанный на заказ, ибо мониторы таких размеров в магазине не продавались, аккуратные стопки дисков и почти никаких бумаг. Панель, предназначенная для компьютерной клавиатуры, наполовину выдвинута, многочисленные шнуры спрятаны в черный кофр, чтобы не болтались под ногами. Кресло, отвечающее всем на свете эргономическим правилам, чуть покачивалось из стороны в сторону.

Между столом и креслом на полу в луже крови лежал человек.

Именно в луже. Она стремительно заливала светлый паркет, подбираясь к колесу щегольского письменного стола.

Троепольский закрыл и открыл глаза.

В ушах зазвенело. Ноги стали ватными. Паника кулаком ударила его в живот.

– Федя!! – крикнул он, прыгнул вперед, отшвырнул кресло и присел на корточки. – Федя!

Бессмысленно было звать Федю – он не слышал своего начальника. Впрочем, он больше никого и никогда не услышит. Вместо головы у Феде было что-то отвратительное, бурое, черное, с вылезшими острыми обломками белых костей. Щека смята неживыми складками, и нос, уткнувшийся в пол, странно сплюснен, словно Федю старались вбить в этот самый пол.

Троепольскому стало плохо.

Так плохо, что пришлось взять себя за горло и подержать некоторое время, стискивая пальцы, ледяные даже сквозь перчатку. Потом он выпрямился, все еще держась за горло, перешагнул неживую Федину руку и опрометью ринулся в кухню. По пути попала козлоногая табуретка. Он опрокинул ее. Табуретка страшно загрохотала.

Ему нужно подышать. Просто подышать. Дышать в одной комнате с тем, что раньше было Федей, он никак не мог. Дернув раму, которая охнула и осталась на месте, он сообразил, что для того, чтобы ее открыть, нужно повернуть какие-то ручки. Он стал крутить эти самые ручки, плохо понимая, что делает, и уверенный только в одном – если он сейчас же, сию же минуту не откроет это гребаное окно, ему придет конец.

Как Феде.

Окно открылось, ледяные гомеопатические шарики брызнули ему в лицо. Арсений задышал, широко открыв рот, и заскреб пальцами по слежавшемуся желтому снегу, захватил немного, щепотку, и сунул ее в рот. Снег отдавал автомобильной гарью и мокрой кожей перчатки. Он сдернул рукавицу и вцепился в снег ногтями.

Стало легче. Или не стало?..

Он оглянулся назад, в темноту квартиры – где-то между пижонским столом и эргономическим креслом лежал его заместитель. Чудовищно, несправедливо и непоправимо мертвый.

Арсений Троепольский стал тем, кем стал, потому что специально учился «владеть ситуацией» – по американским книжкам. Предусмотрительные



американцы понаписали кучу книг абсолютно обо всем, в том числе и о том, как следует «овладевать ситуацией», когда она «выходит из-под контроля».

«Данная ситуация из-под контроля не выходит, – подумал Троепольский, рассматривая свои мокрые пальцы. – По крайней мере, из-под моего. Ее контролирует кто-то совсем другой».

Или что?.. Сердечный приступ, упал, ударился головой о «каминную решетку»? В детективных романах кто-нибудь обязательно время от времени падает и ударяется темечком о каминную решетку, экономя таким образом силы и фантазии автора, которому уже не надо ничего больше выдумывать.

Зачем-то он опять натянул перчатку, постоял еще немного, глубоко и размеренно дыша открытым ртом, а потом решительно повернулся. Он должен пойти и «овладеть ситуацией».

Он зажег свет в кухне, потом в коридоре и – после секундного замешательства – вошел в комнату.

Ему очень хотелось, чтобы того, что лежало на полу, не стало. Просто не стало и все. Или оказалось бы, что Федя пьян и спит, или что он и впрямь ударился головой о каминную решетку – только не до смерти. Господи, прошу тебя, пожалуйста, пусть окажется, что он жив, и я, матерясь от злости и облегчения, сейчас буду поднимать его, волоочь, тянуть, тащить в машину и отвезу в медпункт, где ему зашьют ссадину на лбу!..

И все! Все!..

Но Феда не было. Было мертвое тело – совершенно пустое, так показалось Троепольскому, так он это понял. То есть раньше внутри этого тела был Федя, а теперь его не стало – некого тащить в больницу, нечего зашивать. Кому нужна пустая оболочка без души?!

«Овладеть ситуацией» никак не удавалось.

Кто бил его по голове, так что проломил кости?! Зачем?! За что?!

Что-то хрустнуло под ботинком, и Троепольский стремительно поднялся с корточек. Ему показалось, что он наступил на раздробленную кость, бывшую раньше частью Фединой головы. Опять навалилась тошнота.

Нет. Ничего такого.

Он наступил на свои очки.

Они слетели, когда мимо него пронеслось что-то темное, будто материализовавшееся из Фединой смерти. Арсений отшатнулся, и очки слетели.

Он посмотрел на входную дверь. Она все еще была приоткрыта.

Значит, пять минут назад здесь был Федин убийца. Троепольский его спугнул. Если бы он приехал на пять минут раньше, возможно, Федя до сих пор был бы жив.

Если бы он не ошибся подъездом, Федя был бы жив! Если бы он не переждал на крылечке юнцов с пивными бутылками, Федя был бы жив. Если бы он догадался объехать пробку, Федя был бы жив!

Они вместе начинали работать – прошли все, и огонь, и воду, и медные трубы, как водится. Они девять лет делали одно дело. Феде не было равных в том, что называлось модным словом «дизайн», – он видел этот мир иначе, чем большинство остальных людей, и умел это выразить так, что все вдруг понимали – ну да, да, конечно, именно так и только так, почему же раньше-то никто этого не замечал?! Он любил всех бездомных собак, и кормил их, и пристраивал знакомым. Еще он любил сосиски, детективы, Стинга, кино про любовь и растворимый кофе, который Арсений однажды в приступе самодурства запретил в конторе, только у Феде в столе была банка, и он потихоньку отсыпал оттуда, играя по всем правилам – в начальника и подчиненного.

Федя то и дело влюблялся, и все в каких-то дурех, и жаловался, и печалился, и вздыхал, а Троепольский только раздражался – он-то никогда и ни в кого не влюблялся, потому что это мешает работе, а он умел только работать, и больше ничего.

Как он станет работать без Феди?!

Он вдруг понял, что сейчас заплачет, что уже плачет, потому что щекам стало горячо, а в горле как-то очень узко, и в глазах странно дрожало и двоилось. Последний раз он плакал, когда ему было лет пятнадцать. Бабушка умерла, и именно тогда он понял, что умрут все, и испугался, и плакал от испуга и горя.

Он прижал пальцы к глазам, очень крепко, чтобы загнать обратно слезы, и загнал.

Он не знал, что ему делать дальше. Что вообще делают в таких случаях? Куда бегут? Кому звонят?

Зачем-то он собрал с пола остатки своих очков и горкой выложил битое стекло на край сверкающего письменного стола.

Он мог бы остановить убийцу – в прямом смысле слова остановить, схватив за рукав. Он не вернул бы обратно Федю, но хотя бы знал, кто во всем виноват. А он не остановил!

Из книжек и фильмов он помнил совершенно точно, что нельзя ничего трогать на «месте происшествия», но он должен был знать, что здесь случилось!

Он перебрал все диски, стопкой выложенные на столе, – музыка, музыка, опять музыка, установочная программа, последний проект, который делали для автомобильного завода. Собственно, пока его делал один Федя, остальные подключатся на более поздней стадии, когда Федя наваяет что-нибудь сказочно красивое, а Троепольский одобрит, добавит от себя немного красоты и «запустит проект в работу».

Из набора дисков никак нельзя было узнать, что случилось. Он огляделся по сторонам с тоской и страхом, чувствуя, как необратимо и навсегда меняется мир вокруг него – и прежний, легкий, свободный, веселый, не вернется больше никогда!

Ни следов, ни оброненного носового платка с монограммой, а лучше бы с адресом, ни сигаретного пепла, ни разорванного в клочья договора, ничего, что

могло бы навести Троепольского хоть на какую-нибудь внятную мысль.

Зачем?! За что?!

Так тоскливо ему было, так гадко, так отвратительно в одной комнате с тем непонятым, что раньше было Федей, что он все время заставлял себя смотреть строго на какой-нибудь предмет или в стену, не смотреть на то ужасное, на полу.

Он вызвал милицию – долго объяснял, что не знает адреса, по буквам диктовал фамилию. «Как? – устало спрашивала тетка в трубке. – Еще раз повторите. Тобольский?»

Дождаясь этой самой милиции, он ушел на лестницу и сел на ступеньку, рядом с прикрученной сигаретной банкой, издававшей невыносимую вонь, и курил, и заставлял себя не думать ни о чем.

Самым трудным было заставить себя не думать о том, что в двух шагах от него был человек, убивший Федю, а он упустил его.

Найти место для машины в тесноте и давке Газетного переулка всегда было задачей не для слабонервных, а Полина в этот вечер как раз оказалась слабонервной. Одного она подрезала так, что он шарахнулся от нее вправо и забился за фонарный столб, второго загнала в сугроб, а третьего просто вытеснила с единственного пятачка, куда он пытался припарковаться.

– Идиотка! – опустив стекло, заорал этот самый третий. – Дура, блин! Куда тебя несет, ты че, не видишь меня, что ли?!

– Вижу, – пробормотала Полина себе под нос, выкрутила руль, прицелилась, нажала на газ. Тот, за опущенным стеклом, ахнул и вытаращил глаза. Ее бампер замер в сантиметре от его бампера, и она лихо сдала назад – зарулила.

На заднем сиденье были портфель, пакет с бумагами и Гуччи. Портфель и пакет она выудила легко, а Гуччи забился в самый угол и трясся мелкой припадочной дрожью.

– Ты че?! В морду захотела?! В морду, что ли, дать тебе?! Дубина стоеросовая! Ты че, не понимаешь, сколько твоя, блин, уродина стоит и сколько моя машина?!

– Гуччи, – позвала Полина, по пояс свешиваясь на заднее сиденье, – иди сюда, Гучинька!

Достать песика было никак невозможно. От страха перед тем, что вопило так близко, за тоненькой автомобильной дверцей, за грязным стеклом, бедный Гуччи уползал в дальний угол, косил выкаченным карим глазом, поджимал лапы и, кажется, начал икать.

– Ездить научись, оглобля! Повезло тебе, что я сегодня добрый! Дура, блин, уродка! В морду бы тебе дать по справедливости, да неохота мне пачкаться об тебя!..

Машины даже не сигналили, а ревели и стонали, потому что жаждавший справедливости мужик, бранившийся у нее за стеклом, бросил свою драгоценную тачку прямо посреди переулка, и движение встало, и пробка образовалась, и порядок нарушился.

– Гучинька, – уговаривала Полина, – пойдём, зайнька.

Зайнька отодвигался все глубже и теперь уже отчетливо икал от страха.

Порода называлась «Китайская хохлатая». Очень, очень редкая и драгоценная порода. И главное, дивной красоты. Все тщедушное тельце голое и розовое, как у младенца. Немного жидкой шерстки на лапах, эдакая кисточка на хвосте и подобие дамской прически «с начесом» на макушке и на растопыренных, как у летучей мыши, ушах. Этот представитель китайских хохлатых был как-то по-особому, трогательно несчастен, выкаченные глаза смотрели с каким-то особенным трогательным ужасом, а задница была особенно голой.

Полине его спланировала подруга Инна, улетевшая кататься на лыжах. Инне некуда было его деть – кататься на лыжах с китайской хохлатой в руках было бы невозможно, а только для сидения на руках данная собачка и была предназначена. Инна предполагала, что «хохлатого» заберет мама, которая, как назло, в это время отправилась на Дальний Восток, то ли покупать, то ли продавать какие-то верфи. Решив не откладывать из-за Гуччи покупку или

продажу верфей, редкого песика привезли Полине. Обцеловали обоих, оставили кучу наставлений, специальной еды, несколько изящных пальто, в которые следовало наряжать зверя перед выходом на улицу, несколько изящных ошейников, которыми следовало украшать зверя перед выходом в свет, и укатили, а Гуччи остался.

Он сидел на полу в Полининой квартире, вовсе не предназначенной для содержания таких тонких натур, тоскливо смотрел на нее выпуклыми карими глазами, встряхивал ушами и трясся крупной дрожью. С тех пор она каждый день брала его с собой в контору, ибо одного его оставлять было никак нельзя, и на работе почти не поднималась с кресла, потому что Гуччи трясся у нее на коленях.

– С-сука! – выдал последний аккорд темпераментный водитель и сделал неприличный жест в сторону своей иномарки, перегородившей тесный переулочек. Другие машины, выстроившись за ней, выли, не переставая. – И ты сука, и собака у тебя сука... уродка!

«Сука» как раз была кобелем, но Полина возражать не стала. В конце концов, она сделала то, что было ей нужно, – заехала на единственный свободный пяточок, а уж кто там что при этом про нее подумал или сказал, какая разница!

Она вытащила Гуччи, который от ужаса втиснулся между дверью и задним креслом, и запихала его себе за пазуху. Он тут же поехал вниз, и она потуже подтянула пояс пальто. Водитель вдалеке уже садился в свою машину – слава богу! – но, завидев, что она вышла, повторил свой изысканный жест на этот раз в ее сторону. Она отвернулась. Держать Гуччи, портфель и пакет и еще закрывать машину было очень неудобно, но она закрыла и заковыляла по ледяным кочкам к подъезду. Идти было довольно далеко. Хорошо, что хоть так удалось припарковаться. Обычно она оставляла машину на Никитской. Повезло ей сегодня.

Слава богу, давешний водитель не знает, как ей сегодня повезло. Вспомнив, она чуть не уронила пакет, и Гуччи завозился и затрясся сильнее, почувствовав ее беспокойство.

Мимо пронеслась машина.

- Дылда, блин! - крикнул ей в лицо ее обидчик.

- Идиот, - бодро отозвалась она.

Трудно делать вид, что ей все равно, когда на самом деле это не так. Но она делала.

В офисе в восьмом часу был самый разгар дня. Никто и не думал уходить, все ждали шефа, поехавшего добывать у Феде печать.

В круглом кресле скучал курьер, который привез договоры, чтобы на них поставили эту самую печать.

- Давно сидит? - тихонько спросила Полина у новой секретарши, стаскивая пальто. Гуччи вывалился из теплой ткани, она подхватила его и осторожно посадила на стул.

Секретарша сделала круглые глаза и спросила, можно ли потрогать песика. Полина разрешила и вновь спросила про курьера.

Шарон Самойленко заскучала и ответила, что точно она не знает, так как в это время выходила.

- В какое время? - раздражаясь, спросила Полина. Вот, решила Лаптева рожать ни с того ни с сего, и они все теперь без нее пропадут!

Шарон немного подумала и сказала, что этого она точно не знает, потому что в это время выходила.

- Вот теперь все ясно, - подытожила Полина. - А шеф? Не звонил?

Шарон повеселела и радостно ответила, что звонила ему сама.

- Когда он приедет?

Секретарша молчала и смотрела на Полину.

- Или вы выходили и тогда, когда ему звонили?

- Не-ет, - возмутилась бедная юная Шарон, - как же я выходила, когда я ему звонила!

Клинический случай. Помочь ничем нельзя.

Полина подхватила Гуччи, собрала свои многочисленные пожитки и двинулась в сторону своей комнаты.

- Девушка, - с тоской спросил ей в спину курьер, - вы не знаете, долго мне еще сидеть-то?

- Сейчас узнаю, - не оборачиваясь, пообещала Полина.

Она дошла до своей двери - у нее был отдельный кабинет, Троепольский после ремонта создал ей все условия, - выпустила Гуччи в продавленное кресло и прикрыла его пледом. Плед мелко задрожал.

Она покидала на пол сумки и дошла до Гриши Сизова, именуемого в конторе Гриня, третьего по важности человека в конторе.

- Гринь, прости, пожалуйста, ты не знаешь, когда Арсений будет?

- Понятия не имею, - бодро ответил тот. - У Федьки ни один телефон не отвечает, ни мобильный, ни домашний. Может, Арсений его в больницу поволок или куда там еще...

Полина помолчала.

- А шефу ты не звонил?

- Да не звонил я! - с досадой сказал Гриня и даже на секунду оторвался от своего компьютера, чтобы взглянуть на нее. - Ты что, не знаешь его? Я ему позвоню, а он мне... по лысине, да? - И Гриня энергично постучал себя по заросшей густыми волосами макушке. - Если тебе надо, звони ему сама.



- Да мне не надо, но курьер-то сидит! Сколько ему еще здесь прозябать?

- А чего ему не сидеть? Ты скажи инвалидке нашей, пусть она ему кофе поднесет и бубликов каких-нибудь.

- Бубликов, - пробормотала Полина, - понятно.

- Пошли лучше со мной в кино, - предложил Гриня весело, - фильм - блеск. Про то, как людей пожрали пауки.

- В самый раз тебе такое кино смотреть.

- А какое же мне смотреть? Про любовь-морковь?

Он опять оглянулся, зубы сверкнули на загорелом лице, сказочная улыбка будто полоснула ее - хорош, хорош был третий человек в конторе, только у нее уже иммунитет выработался после того, как она переболела первым.

Полина отступила в коридор, ей не хотелось вести с Гриней игривые разговоры, особенно про то, как людей пожрали пауки, и он закричал вслед ей, что хотел бы посмотреть сайт «Русского радио», если там хоть что-то готово.

- Все готово, - пробормотала Полина.

- Ну что, девушка? - встрепенулся курьер, как только она показалась в коридоре. - Узнали?

- Нет пока, но сейчас узнаю.

Она вернулась в свою комнату - Гуччи под пледом переполошился, поднял голову и встопорщил уши, прислушиваясь, - набрала собственный мобильный номер и нажала на пластмассовую кнопку, как только прозвучал первый далекий сигнал. В сумке что-то пискнуло и затихло.

- Алло, - фальшивым голосом сказала она в тишину и пустоту трубки, - Арсений, это я. Прости, пожалуйста, что отрываю, но когда нам тебя ждать?

Не было в трубке никакого Арсения, но она знала, сколько ушей прислушивается сейчас к ней, в том числе, может быть, и уши лютого врага.

До сегодняшнего дня она и не подозревала, что у нее есть враги.

- А курьеру что делать? Хорошо, передам. Приезжай скорее.

Она еще некоторое время подержала трубку в ладони, а потом осторожно опустила ее в пластмассовое углубление и выглянула в распахнутую дверь.

- Ждать не нужно, - сообщила она курьеру, - он опаздывает. Мы пришлем договоры с кем-нибудь из наших. Завтра, скорее всего.

- Вот спасибо вам, девушка, - прочувствованно сказал курьер и поднялся, и сразу стало видно, что он намного ее ниже. Впрочем, почти все на свете мужики были намного ее ниже, так уж получилось. Надо было идти на подиум и томно шататься под музыку, покачивая костлявыми бедрами, - именно так Полина представляла себе профессию модели, - а она заделалась в компьютерные гении!

Кто-то в глубине офиса работал под «Рамштайн», ритм бил по ушам, раздражал Полину, хотя она умела не слышать, когда не хотела, но сегодня у нее не было на это сил.

- Шарон!

Молчание, рамштайновский ритм, отдаленное компьютерное гудение.

- Шарон!

Телефонный звонок, и Гринин голос, произнесший с неповторимым мужским чувством: «Привет, любимая!» Впрочем, любимыми у Грини были все.

- Шарон!

- А!

Ну, наконец-то проснулась!

- Сварите мне кофе, пожалуйста. И сообразите чего-нибудь поесть.

- А... чего вам поесть?

- Ну, не знаю. Яблоко. Булку. А что? Ничего нет?

- Нет, - весело ответила юная Шарон. - Еще днем все кончилось.

То, что и поесть нечего, доконало Полину Светлову.

- Если ничего нет, какого черта вы спрашиваете, что я хочу! Я хочу три бутерброда с колбасой и апельсин! Или яблоко! Яблока тоже нет?

- Нет.

- Почему вы ничего не купили?!

- Так мне не сказал никто!

- Кто вам должен говорить?! Вас шеф десять раз предупреждал, чтобы вы покупали кофе и какую-нибудь еду. Для этого даже водитель есть и деньги специальные! Варвара всегда покупала...

- Я квалифицированный работник, - неожиданно заявила Шарон Самойленко, которой еще утром мама велела быть самостоятельной, давать отпор домогательствам шефа, которые непременно должны воспоследовать, и ни за что не «прислуживать» остальным. - Я квалифицированный работник, и я не стану покупать вам колбасу!

Полина Светлова, дылда в красных очках и джинсах «Эскада», так удивилась, что дар речи потеряла - вот как ловко ее отбрила феминистка Шарон. Некоторое время дылда еще открывала и закрывала рот, не в силах произнести ни слова, потом повернулась и ушла, и таким образом за Шарон осталась полная победа.

- Польша, ты чего орешь?

- Я не ору. Я хочу кофе. Я не ела целый день и...

- Заходи, - пригласил ее Марат Байсаров. - У меня свой.

Шарон Самойленко отчетливо зафырчала за тонкой перегородкой - выразила свое отношение и к дылде, и к Марату.

- Тебе сколько ложек?

- Чего?

- Сколько кофе на чашку?

- У тебя что?.. - со священным ужасом спросила Полина. - Растворимый?..

Растворимый кофе в конторе был только у Феде. «Просвещенный монарх» Троепольский, завидев банку, немедленно изымал ее из оборота и больше не возвращал.

- Да нет, - успокоил ее Марат, - у меня кофеварка новая. Идиотизм. Варит по чашке, а больше ни в какую. Сколько тебе ложек?

- А какая чашка?

Марат показал.

- Одну.

- Сигарету?

- А у тебя какие?

- «Честер».

- Давай.

- Одну?

Полина вскользь ему улыбнулась.

Марат покопался в столе, выудил пачку и пустую пластмассовую зажигалку, посмотрел на свет, потряс ею и опять посмотрел, словно от его потряхивания там мог появиться газ.

- Да ладно, у меня своя есть.

- Как твоя собака?

- Кто?.. А, собака! Хорошо, только, по-моему, это никакая не собака.

- Как? - удивился Марат, который все и всегда принимал за чистую монету. - А кто тогда?..

- А, по-моему, тролль.

- Тролль? - недоверчиво переспросил Марат.

Полина кивнула, осторожно отхлебывая огненный кофе. Кофе с сигаретой - вот настоящий рацион настоящего компьютерного гения!

Только булки все равно очень хотелось.

- Полька, ты чего такая мрачная?

Она не любила, когда ее звали Полькой. Это Троепольский придумал, будь он не ладен, и прижилось. Теперь, когда ее так называли, ей все время казалось, что он где-то поблизости.

- Есть хочу.

Дело было не только в этом, но она не могла ничего сказать Марату. Она никому и ничего не могла рассказать.

- Да нету у меня ничего!

- Ужасно. Я с голодухи всегда... злюсь.

- Могу еще кофе сварить.

Полина кивнула - в чашке остался один глоток. Впрочем, их и было-то всего два.

- Работать будешь?

- Буду. Я сегодня полдня ездила и ничем больше не занималась.

- А у меня один макет вообще накрылся, представляешь?

- Как?!

- Черт его знает как. Нету, и все тут.

Полина поставила чашку на стол и оглянулась на дверь. Почему-то ей показалась, что там кто-то есть. Она так определенно это почувствовала, что даже шее стало холодно. Она повела плечом и опять оглянулась, будто откидывая волосы назад. Дверь была распахнута - у них в конторе все запирались только в крайних случаях. Когда приезжали клиенты, к примеру.

- Какой макет, Марат?

- Уралмашевский.

- Так его же Федя делает, а не ты!

- Ну, Федя, ясное дело. Он меня просил какие-то хвосты за ним подчистить, я стал смотреть, а макета нет.

Полина ничего не понимала.

– Марат, куда мог пропасть незаконченный макет из компьютера?!

Марат пожал плечами:

– Убить могли.

– Кто?! И кому он нужен?

– Да никому не нужен. Случайно.

– Марат, кто мог случайно убить чужой макет?!

Марат опять пожал плечами и из крошечной колбы подлил ей кофе.

Шея уже не просто похолодела, под волосами словно лежал кусок льда. Полина потеряла шею и стала выбираться из кресла.

Она должна посмотреть, есть там кто-то или нет. Наверное, нет. Даже, скорее всего, нет. Это глупые дамские страхи, потому что сегодня такой день. Ужасный.

– Короче, он просил вечером отправить ему переделанный макет, а у меня его нету. Троепольский приедет, шкуру с меня сдерет. Польша, ты куда?!

Она прыгнула и сразу оказалась в коридоре, застланном серым ковром с желтой каймой. Справа в отдалении шел Гриня Сизов с мобильником возле уха. Слева поблизости околачивалась Шарон Самойленко с телефонной трубкой в руке. В круглом кресле, где давеча маялся курьер, сидела молодая девица в стильной кожаной курточке, смотрела в сторону. Рядом на ковре валялся рюкзак.

– Вам что-то нужно? – с негромким презрением спросила Полина у Шарон. До исторического момента провозглашения себя «квалифицированным работником» Шарон несколько не волновала Полину Светлову. Она относилась к секретарше с определенным сочувствием – в конце концов, та не виновата, что такая тупая уродилась, всякое может быть, и такое тоже. Теперь же Полина оказалась как будто в состоянии конфронтации, хотя это смешно –

конфронтация с Шарон!

- Вот девушка, - неопределенно сказала Шарон и показала на сидящую в кресле телефонной трубкой.

Полина смотрела на нее сверху вниз и молчала, помешивала кофе в чашке примерно на уровне макушки бедной юной Шарон.

- Девушка вот, - повторила та чуть более нетерпеливо, очевидно, удивляясь, отчего Полина молчит и ничего не предпринимает. - Видите?

- Вижу, - согласилась Полина и опять ничего не предприняла.

За Полининым плечом Марат Байсаров негромко и обидно засмеялся. Девушка быстро оглянулась. Марат перестал смеяться так неожиданно, словно ему заткнули рот.

- Девушка, вы к кому? - вежливо спросила Полина. От Шарон не было никакого толку.

- А... я к Федору Грекову. - Тут девушка проворно поднялась из кресла и оказалась сказочной красавицей, как принцесса из американского мультфильма, - неправдоподобно длинные ноги, неправдоподобно белые зубы, неправдоподобно яркие глаза, неправдоподобно нежные щеки. Полине показалось, что Байсаров чуть не упал за ее спиной.

- Федора нет, - кисло ответила Полина Светлова. Трудно сохранять присутствие духа рядом с такими красавицами. Невозможно. И даже утешить себя нечем - разве что тем, что ты умнее. Впрочем, может, красавица тоже чрезвычайно умна.

- Но он сегодня будет?

Полина и Марат переглянулись.

- Вряд ли, - мужественным голосом сообщил Марат. - Он... заболел. У него больничный.



- Как заболел? - изумилась девица.

- Грипп, наверное, - продолжал Марат, - но, если у вас какое-то дело, вы вполне можете переговорить с нами. Марат Байсаров и Полина Светлова. Вы с «Русского радио»?

Девица улыбнулась и стала еще раз в тридцать краше. А может, в сорок. Или в пятьдесят.

«Если ее увидит Троепольский, - подумала Полина мрачно, - все. Мы больше Троепольского не увидим никогда. Хорошо бы он не скоро приехал».

- А почему вы решили, что я с... радио?

- Не знаю, - галантно ответил Марат, - мне так показалось.

- Нет, я племянница, - объяснила девица и засмушалась. - Я племянница Федора Грекова. Меня зовут Лера. Мы вчера договорились, что я приеду к нему в контору, и мы... А он что, правда заболел?

Шарон Самойленко все топталась рядом, рассматривала племянницу, ее длинные волосы, синюю курточку, как будто джинсовую, а на самом деле кожаную, замшевые ботинки и всю потрясающую общую красу.

- У вас к нам какое-то дело? - вежливо поинтересовалась Полина у Шарон. - Если нет, вы свободны.

Та пожала плечами, что означало, что теперь она тоже в состоянии конфронтации с Полиной, и удалилась в свою каморку.

- Зачем вы ее прогнали? - шепотом спросила племянница. - Она на вас обиделась.

- Шут с ней, - небрежно ответила Полина. - Все равно она ни на что не годится. Даже кофе нам не дает. А что с Федором - мы не знаем. Он сегодня не пришел на работу, и наш шеф поехал к нему. Еще не вернулся.

Как только она выговорила это, внутри у нее похолодело, и лед из горла попал в желудок и еще в легкие, так что трудно стало дышать. Ей даже показалось, что она слышит слабый морозный свист от своего дыхания.

Красотка Лера удивилась, но не слишком – очевидно, семья была отчасти осведомлена о Фединых прихотях.

– Да, – сказала она и улыбнулась прощающей улыбкой, словно отпуская Феде все грехи, – с ним это бывает. Наверное, мне нужно к нему домой поехать. Или маме позвонить? Можно мне от вас позвонить?

– Конечно! – пылко и страстно воскликнул Марат, и Полина Светлова поняла, что в этом сердце она навсегда отодвинута на второй план.

Если Троепольский увидит Федину племянницу...

Господи, о чем она думает! Разве это имеет значение?! Только одно имеет значение – как теперь она, глупая и самоуверенная Полина Светлова, станет спасать свою шкуру, и спасет ли! А Троепольского не было и не будет в ее жизни – никогда. И она отлично об этом знает. Она запретила себе – и у нее получилось. Получалось до последнего времени.

Только иногда не получалось – когда он вдруг становился нежен, то ли от усталости, то ли из товарищеских чувств. Примерно раз в году с ним такое бывало – посреди дня он приходил в ее комнату, брал за руку и вел в какую-нибудь кофейню. Он знал их наперечет, все эти кофейни, словно перенесенные на Никитскую улицу с Рю де Риволи.

И в приятной тесноте, полной сигаретного дыма и кофейного духа, они долго сидели рядом, так что она слышала негромкий и очень мужской запах его одеколona, и он что-то говорил ей на ухо, и вертел зажигалку – была у него такая привычка. И прямо перед собой она видела его пальцы, длинные, ухоженные, с расширенными косточками и розовыми мальчишескими ногтями. Блестящая прядь темных волос вываливалась из-за уха, и он заправлял ее привычным нетерпеливым движением, от которого у Полины что-то холодело с левой стороны, словно он трогал холодной рукой ее сердце. У него были очень черные глаза, о которых ей почему-то нравилось думать – андалузские, – и длинные ресницы, и смуглые щеки, и все это так ей нравилось, что хотелось

плакать. Ей нравилось даже, что он много и как-то легкомысленно курит, и его невозможно представить себе без сигареты.

И он никому не принадлежал.

Никому, черт бы его побрал!..

Все было бы в сто раз проще, будь у него жена и некоторое количество подрастающих наследников.

У него не было жены и вообще никого не было, ибо всерьез он занимался только работой. Никто и ничто не интересовало его так, как его драгоценная работа. Девиц, со всех сторон бросавшихся на него, он время от времени приближал к себе, очень ненадолго, – пользовался ими легко и с удовольствием, потом снисходительно и ласково целовал прощальным поцелуем, нежно трепал по затылку, отпускал и больше не вспоминал о них никогда. У него хватало порядочности и чувства юмора никому и ничего не обещать, потому и взять с него было нечего, хотя некоторые пытались, и Полина искренне их жалела.

Переболеть Троепольским и не нажить осложнений было трудно. Заразившиеся им непосредственно в стенах конторы страдали у Полины на глазах, и она утешала их, подставляла плечо, выслушивала откровения, давала советы, печалилась, заваривала кофе, самый что ни на есть настоящий, не растворимый, боже упаси!.. Никому, кроме Феди Грекова и Варвары Лаптевой, которые все про всех знали, и в голову не приходило, что у Полины Светловой тот же самый диагноз.

Да, но она вылечилась. Конечно, вылечилась. Ну, почти. Почти.

– Спасибо вам большое, – ни с того ни с сего произнесла вежливая и красивая Федина племянница. – Я, наверное, поеду.

– Может, кофе все-таки, – безнадежно предложил Марат, но племянница посмотрела на него и улыбнулась как-то так, что сразу стало ясно – Марат тут ни при чем. Совсем ни при чем.

Она подтянула с пола свой рюкзачок, откинула назад волосы, еще раз улыбнулась – на этот раз улыбка была прощальной – и пошла по коридору в сторону наружной двери. Полина и Марат смотрели ей вслед.

Полина думала – надо же быть такой красавицей!

Марат думал – сейчас уйдет, и все, черт возьми!..

Охранник открыл запищавшую кодовым замком дверь, потом она стукнула, закрываясь, и Марат очень озабоченно произнес:

– Кажется, я машину не запер.

– Какую машину?..

– Свою. Пойду проверю.

Это было смешно.

Он заскочил в свою комнату, через секунду вылетел оттуда – рука просунута в один рукав, второй волочится по ковру, в кулаке для правдоподобия ключи от машины.

– Надо проверить, – озабоченно повторил он, хищным взглядом косясь вдоль коридора.

Полина согласно покивала.

Он был уже у самой двери, когда она крикнула:

– На вечер никаких свиданий не назначай!

– Почему это?!

Держа ключи в зубах, он натягивал куртку.

– Совещание по «Русскому радио».

– Черт возьми, точно!

Дверь опять запищала, приглушенно бабахнула, и все стихло, только рамштайновский ритм остался в пустом коридоре.

Стало грустно и заломило в висках – да что за козел работает под этот самый «Рамштайн»! Сейчас она ему устроит. Или им. Сейчас она всем устроит!

Вообще Полина Светлова была миролюбива, незлопамятна и равнодушна ко всему на свете, кроме работы и Арсения Троепольского, но только не сегодня! Сегодня ужасный день. Самый худший день в ее жизни.

Сзади слышался какой-то странный звук, как будто мышь скреблась, и еще писк, тоже вполне мышиный. Черт возьми, еще и мыши!..

Но это была китайская хохлатая собака Гуччи, которая выбралась из ее комнаты из-под теплого пледа и теперь тряслась мелкой дрожью посреди коридора. Тряслась, и лапкой скребла ковер, и смотрела с жалобной укоризной.

– Бедный мой!

Полина сунула свою чашку на гостевой круглый стол, подхватила Гуччи на руки, побежала и в своей комнате сразу кинулась за перегородку, где у нее были крохотный диванчик, на котором она не помещалась, кофеварка и кювета для Гуччиных надобностей, стыдливо задвинутая в самый угол. Гуччи в кювете вполне успешно освоился, но все равно ему требовалось, чтобы Полина непременно присутствовала при столь деликатной процедуре.

Полина присутствовала. Гуччи стыдливо оглядывался и дрожал. Потом выбрался, покосился на кювету и содеянную в ней кучку и улыбнулся Полине смущенно.

– Хороший мальчик, – похвалила его она, – умница.

Гуччи вовсе не был уверен в том, что он хороший мальчик и умница. Он вообще ни в чем не был уверен, и несовершенство мира и его собственное приводило его в ужас, и никто, никто этого не понимал!..

Полина подняла его, погладила по прическе «с начесом», опустила в кресло и накрыла пледом. И тут зазвонил телефон. Мобильный, у нее в сумке.

Сердце сильно ударило. Она знала, кто звонит и зачем.

Номер определился, но и без этого все было ясно.

- Да.

- Полина.

- Ты где, Троепольский?

У него был очень сердитый голос. Когда волновался, он всегда говорил быстро и сердито.

- Я у Феди. Он... умер.

- Что?!!

- Полина. Он умер. Его убили, по-моему. Милиция считает, что это я его убил.

- Как?!

- У Сизова заняты все телефоны. Скажи ему, чтобы он положил трубку и перезвонил мне. Немедленно.

- Как... убили?! Арсений, что случилось?!

Ноги не держали ее - впервые в жизни она поняла, что это такое, когда ты пытаешься стоять и никак не можешь. Пошарив рукой, она приткнула себя в кресло. Гуччи взвизгнул. Она не обратила на него внимания.

- Ты поняла меня?

- Кто считает, что это... ты?!

- Милиция так считает. Потому что я ее вызвал. Это даже забавно.

Слово «забавно» в устах Арсения Троепольского означало крайнюю степень бешенства.

- А... адвокату позвонить?

- Пусть мне перезвонит Сизов. Прямо сейчас. Все, Полина.

Телефон тренькнул, разъединяясь. Полина зачем-то наклонилась и положила его на пол. Оглушительная тишина висела в конторе – никакого шевеления или рамштайновского ритма. От этой тишины невозможно было дышать.

Она перешагнула через телефон и выбралась в коридор.

Сизов маячил на пороге своего кабинета. Саша Белошеев выехал в коридор вместе с креслом и теперь вытягивал шею в ее сторону, откинувшись на спинку. На коленях у него была компьютерная клавиатура. Ира выглядывала из своего кабинета – на кончике носа очки, в одной руке папка, а в другой ручка.

Все слышали, как Полина кричала. У них в конторе никто никогда не кричал.

- Федька умер, – сказала Полина негромкой скороговоркой. – Троепольский вызвал милицию, и они теперь думают, что это он его... убил.

Ирка ахнула и сорвала с носа очки.

- Гриш, он просил тебя позвонить. Прямо сейчас. Или он имеет право только на один звонок?

- Иди ты к черту, – рыкнул Сизов и скрылся за своей дверью.

Саша с грохотом обвалил с коленей клавиатуру.

- Господи, - пробормотала Ира, - господи, какой ужас.

Из-за чьей-то двери грянул «Рамштайн» – финальный аккорд сегодняшней мистери.

...Или трагедии?

Вода и так была очень горячей, но, стоя под душем, он все делал ее погорячее – пока мог терпеть. Потом терпеть стало невозможно, и он перестал. Весь мир заволочло паром – он даже руку свою не мог рассмотреть, плечо видел, а пальцы нет.

Вода катилась по лицу, он слизывал ее с губ, и ему все казалось, что она невыносимо воняет. Отвратительно воняет тюрьмой.

Кто-то из его «временных удовольствий» однажды оставил у него в ванной гель для душа «Лавандовый». «Лавандовый» имел крепкий косметический дух, и он вылил на себя уже полфлакона, но ничего не помогало.

Вода на губах была на вкус, как тюрьма.

Забавно.

Его продержали в кутузке три дня, а потом выпустили, «за отсутствием улик». Наверное, если бы улики «присутствовали», его посадили бы всерьез. Вот черт, ему даже в голову не могло прийти ничего подобного!..

Вода попала в горло, и он закашлялся. В голове сильно и быстро стучало – от горячей воды и кашля.

Нужно выходить, иначе он свалится в обморок, ударится головой о «каминную стойку», и ему придет конец, как Феде.



Феде проломили голову в его съемной квартире, и менты решили, что проломил он, Арсений Троепольский, который оказался на месте происшествия первым, – больше свалить не на кого, больше там никого и не было.

Троепольский работал с Федей всю жизнь. Он не помнил уже, когда работал один. О том времени ничего не осталось – ни воспоминаний, ни побед, ни потерь.

Насмешница Варвара Лаптева называла их с Федей «Тарзан и Чита». Тарзан – начальник. Чита – заместитель. Идеальная пара. Тройка, если прибавить Сизова, последнего из могикан.

Кто, черт возьми, посмел убить Федю?! Кто?! Зачем?!

В голове вдруг зашумело так сильно, что пришлось опереться о мокрый горячий кафель и даже приложиться щекой к распластанной ладони. Жестяные струи лупили затылок, обжигали кожу под волосами.

Невыносимо воняло тюрьмой.

Держась за стену, Арсений выбрался из душа, вытерся, морщась от отвращения, и напоследок немного полил себя туалетной водой из прохладного и гладкого флакона. Вода называлась «Картье» – серебристые тонкие элегантные буквы по кругу. Он посмотрел на флакон и сунул его в шкафчик. Шкафчик полыхнул ему в лицо отраженным светом, и пришлось зажмуриться, и хорошо, потому что смотреть на себя в зеркало он не мог.

От «Картье» тоже несло тюрьмой.

И в квартире был стойкий запах кутузки, должно быть, из-за одежды, кучей сваленной перед входной дверью. Он вошел в свой дом и первым делом сбросил с себя все, в чем был, включая очки. Теперь, покосившись на зловонную кучу, он трусливо перебежал в спальню, выхватил из гардероба чистые джинсы, напялил их прямо на голое тело и некоторое время думал.

Только один вопрос его занимал – кто? И, пожалуй, еще один – зачем? И он ничего не испытывал, кроме горячего и острого, как давешние водяные струи, бешенства. Еще брезгливость, пожалуй, к самому себе, к своему отвращению и

страху.

И все. Больше ничего.

Он сунул ноги в летние кроссовки, валявшиеся на полу под одеждой, дернул створку шкафа, закрывая полки и вешалки, и решительно вышел в холл.

Ему нужна трезвая и холодная голова – собственно, только такая у него и имелась в наличии! – но куча баракла на полу не давала ему покоя.

Запах кутузки приблизился, вполз в голову, занял там много места, освободившегося за три дня бездействия и бешенства, – пожалуй, теперь он точно знает, что именно испытывает дикий зверь, ни за что ни про что посаженный в клетку. Три шага вдоль, два шага поперек, стена, решетка, вонь.

Очки валялись сверху, он подцепил их и кинул в кресло, надевать не стал, а одежду сгреб в кучу – ботинок вывалился, и Арсений осторожно присел, чтобы поднять его. Той рукой, в которой был зажат ботинок, он открыл замок, ногой толкнул тяжелую дверь и вышел на лестничную площадку.

Площадка была чистой и просторной, напротив всего одна квартира, и он даже толком не знал, кто в ней живет. Хорошо бы никто не жил, ничего не видел, ни о чем не спрашивал!..

– Что ты делаешь?!

Голос грянул из пустоты, и он остановился посреди лестничного пролета. Куча баракла мешала ему, кроме того, он был без очков.

– Господи, Арсений, что ты делаешь?!

Ну, конечно. Картина Репина «Не ждали».

– Помоги мне.

Она секунду помедлила, потом подбежала, процокали ее каблучки, и сняла немного баракла сверху кучи. Сняла и оказалась с ним нос к носу.

- Что это такое? Куда ты это тащишь?!

- На весеннюю распродажу, - ответил он любезно. - Иди за мной.

Она послушно потащилась за ним. Она почему-то всегда его слушалась.

Троепольский дошел до первого этажа, до каморки консьержки, и свалил одежду на пол.

Консьержка вытаращила глаза.

- Что это вы, Арсений Михайлович? Никак переезжаете?

- Не дождетесь, - под нос себе пробормотал Арсений Михайлович. Полина расслышала, а консьержка нет.

- Эдита Карловна, это мои... старые вещи. Вы посмотрите, если вам что-то нужно для кого-нибудь, возьмите, а если нет, выбросьте. - И добавил: - Пожалуйста.

Он рос в хорошей семье и вырос вежливым мальчиком.

- Давай. Кидай. - Это уже к Полине.

Она опять секунду помедлила и не кинула.

- А ты карманы в этих... старых вещах проверил?

Про карманы он даже не вспомнил. Эдита Карловна смотрела на них, разинув рот, полный золотых и серебряных зубов. Переводила взгляд с них на барахло и обратно.

Полина стремительно присела - Гуччи в элегантном полосатом пальто завозился и занервничал у нее под мышкой - и стала решительно копаться в одежде Арсения, отыскивая карманы.

Консьержка неожиданно взвизгнула и подскочила так, что чайная ложка звякнула о подстаканник.

- Господи Иисусе, это что у вас?

- Где? А, это моя собака.

- А чего это она такая? Лишайная, что ли?

- Это такая редкая порода. Специальная.

- Без шерсти, что ли?

В одном кармане был бумажник, в другом ключи от машины. Полина достала бумажник и сунула Троепольскому. Он взял, и она продолжила шарить.

Ручка. Сложенный вчетверо листок бумаги. Десять копеек. Кажется, все.

- А телефон? Паспорт?

- Дома.

- Точно?

- Страсть какая-то, а не собака. И чего только не придумают, а? Собака на то и собака, чтобы в шерсти быть, хозяев охранять. А это? Разве ж это собака?

- Такая порода.

- Точно, не лишайная она?

Прямо у Полины перед носом были гранитные плиты пола и его ноги без носков, всунутые в старые кроссовки. Она отвела глаза и поднялась, сразу оказавшись одного с ним роста.

- Арсений Михайлович, так чего мне делать-то?

- Что хотите. Если вам ничего не нужно, выбросьте.

- Выбросьте, - пробормотала консьержка с презрением к богатым недоумкам, вроде Троепольского, которые время от времени начинают «чудить», - как бы не так! Такие вещи, да выбрасывать!..

- Пошли. Извините нас, Эдита Карловна. - За руку он потащил Полину к лестнице, и примерно на середине пути она выдернула руку.

- Ты что? С ума сошел?

- А что такое?

- Да ничего такого! Зачем ты все... выбросил?

Арсений Троепольский не мог сказать Полине Светловой, что выбросил все потому, что в его доме от этих вещей невыносимо воняло тюрьмой, и, как выяснилось совсем недавно, он просто не в состоянии жить в этом запахе.

И он сказал:

- Какое тебе дело?

Собака Гуччи из-под ее локтя посмотрела на него укоризненно. Гуччи не понравился его тон.

- Да мне никакого дела до этого нет, но тебя три дня продержали в кутузке.

- И что? У меня теперь подмоченная репутация? Эдита Карловна не сможет подарить мои штаны своему сыну по идейным соображениям?

- А то, что приедут менты, и она им скажет, что от одежды, в которой ты был у Феди, ты моментально избавился. И что тогда?

Она была права, и от ее правоты он раздражался все сильнее.

- И что?

- Ничего. У тебя будут неприятности.

- У меня и так их полно. Заходи.

Он пропустил Полину в квартиру, захлопнул дверь, обошел ее и исчез. Гуччи затряс ушами и посмотрел на Полину с вопросительной укоризной. «Он просто хам и совсем не джентльмен, – вот что выражали выпученные Гуччины глазки. – Зря ты с ним связалась».

- Да я и не связывалась, – прошептала Полина и ссадила собаку на пол.

- Что? – Троепольский стоял в дверях, вид у него был крайне раздраженный.

- Тебя давно отпустили?

- Два часа назад.

- Почему ты никому не позвонил?

- Кому, например?

- Сизову. Или... мне.

- Почему я должен вам звонить?

- Ты не должен, – тихо ответила она, – но мог бы.

- Ну хочешь, – предложил он, – я тебе позвоню. Прямо сейчас.

Она ехала и мечтала утешать его, если он окажется дома. Адвокат, с которым она разговаривала накануне, уверял, что в ближайшее время Арсения непременно выпустят, ибо держать его дальше «под стражей нет никаких законных оснований», и она поехала на свой страх и риск, изо всех сил надеясь, что его уже выпустили.

Арсения выпустили, но о том, что его нельзя утешать – никому не позволено, – она забыла. Его никогда нельзя было утешать, он не давался.

– Ты на машине?

Полина посмотрела на него – бледный, смуглый, заросший, очень раздраженный.

– Конечно.

– Я сейчас оденусь, и ты меня отвезешь на работу. Кстати, тебе тоже неплохо бы на работу сходить.

– Мне нужно с тобой поговорить.

– О чем, черт возьми?!

– О Феде.

Тут он внезапно повернулся и ушел, а Гуччи, семеня тонкими лапами, подбежал и прижался к Полине, как актриса мелодраматического жанра. Полина подхватила песика и отправилась разыскивать шефа в недрах его собственного жилья.

В отличие от Феде Троепольский вовсе не считал, что должен опроститься и снизить потребности не просто до нуля, а прямо-таки до абсолютного нуля. У него была просторная и в меру уютная квартира, очень мужская и приспособленная только для одного человека. Полина всегда чувствовала себя в ней не то чтобы странно, а как-то... не на месте, что ли. Лишней как будто. Впрочем, она и была здесь лишней.

Троепольский в спальне ожесточенно рылся в шкафу и на Полину даже не взглянул. Она постояла-постояла в дверях, вошла и села на плетеную корзину, которая помещалась в ногах императорской кровати. Гуччи трясся у нее на руках, лохматые уши дрожали.

Троепольский мельком глянул на них и продолжал рыться.

– Зачем ты его сюда приволокла?

– Он все время со мной. Он один не может. – Здорово, – оценил он.

– Что ты ищешь?

– Очки, черт возьми!

– В кресле лежат какие-то очки.

– Они мне не подходят.

Не мог же он сказать ей, что это те самые, в которых он был в кутузке, и теперь вряд ли он сможет когда-нибудь их носить! Надо было выбросить их вместе со всем остальным барахлом, а он пожалел.

Полина смотрела ему в спину – длинная мужская спина с цепочкой позвонков.

– Арсений, поговори со мной, пожалуйста.

– Я говорю.

– Что случилось? Ты понимаешь, что случилось?

Он наконец нашел очки, нацепил их и посмотрел на нее – так, что она непроизвольно подвинулась на плетеной корзине. Гуччи тоненько заскулил.

– Я понимаю, что случилось. Федьку убили.

– Зачем?! За что?!

– Вот этого, – сказал он любезно, – я как раз не понимаю.

– У него что-то украли?



- У него нечего красть. Компьютер на месте, а больше у него ничего нет.

- Ты... посмотрел?

- Нет. Я не смотрел. Но красть у него нечего.

- А с компьютером?.. Все в порядке?

Он дернул вторую полированную дверь, открылись полки от пола почти до потолка, и опять стал ожесточенно копать. Очки взблескивали на носу.

- Полька, о чем ты меня спрашиваешь?

- О Федине компьютере.

Он перестал рыться, но не обернулся.

- Ты спрашиваешь, не влез ли я в Федькин компьютер сразу после того, как нашел его с проломленной башкой?..

Именно об этом она его и спрашивала, потому что это был очень важный вопрос. Самый важный вопрос. Полина знала это, а Троепольский не знал.

- Я не копался. Ты что? Идиотка? Я приехал к нему за печатью, открыл дверь и... и... - Теперь он смотрел на нее, не мигая, и от неловкости она еще подвинулась назад и нервным движением закинула за плечо прядь черных волос. И перехватила свою придурочную собаку, которая возилась у нее под мышкой.

- Если бы я не парился в пробке, если бы не ошибся подъездом, если бы лифт быстрее приехал, он был бы жив! Жив! А ты, твою мать, говоришь - «компьютер»! За каким хреном мне сдался его компьютер, когда я не успел! А мог успеть!..

- Ты ни в чем не виноват, - быстро сказала она, - жизнь не знает сослагательных наклонений.

Про эту жизнь, которая «не знает сослагательных наклонений», он был наслышан. Только что по всем телевизионным каналам отгремели поминки по тирану, почившему полвека назад, и во всех репортажах, зарисовках и «документальных детективах» то и дело употреблялось это самое «сослагательное наклонение», – а вот если бы телефон позвонил, охранник зашел, да еще почту привезли, может, он еще и очухался бы, тиран-то!..

Неизвестно почему вспомнив про телевизионные поминки, Троепольский пришел в бешенство.

Если бы не вспомнил, не пришел бы, но жизнь не знает сослагательных наклонений.

Лицо у него изменилось.

– Ты что? – испуганно спросила Полина. Гуччи заскулил еще тревожней и затрясся еще сильнее. Элегантное полосатое пальтецо его пошло складками.

– Ничего! Федьку прикончила какая-то сволочь, а ты – компьютер! Да при чем тут компьютер! Ему полголовы снесли до... до костей, до мозгов, ты понимаешь это или нет?! Дура! И они решили, что это сделал я, понимаешь?! Я! Что это я подошел к нему сзади, когда он за компьютером сидел, что я с собой топор принес или что там, что я... Федьку!

Он сорвал очки и швырнул их в сторону кровати. Полине показалось, что еще секунда, и он ее ударит, или начнет биться головой о стену, или заплачет – потому что глаза у него стали дикие, она никогда не видела у него таких глаз.

Лучше бы ударил.

– У него в двери даже замок... дерьмо, а не замок! Он же ни о чем никогда не думал! И какая-то сволочь его по голове... когда он не видел! Он спиной сидел! А они решили, что это я!..

Полина спихнула Гуччи на императорское покрывало – от ужаса уши у песика сложились, как крылья, – проворно поднялась и обняла Троепольского вместе с его слезами, гордостью, горем и желанием немедленно перегрызть горло хоть

кому-нибудь, ей, к примеру.

Он выворачивался. Ругался. Он стискивал зубы и обзывал ее, и прятал лицо, и злобно и коротко дышал, но она пересилила его.

Он перестал вырываться, обнял ее за шею – он всегда так обнимал ее, как маленький, – и некоторое время они постояли молча. Ладони, державшие ее шею под волосами, были влажными и жесткими.

– Я найду того, кто его... ударил.

– Конечно.

– Я найду и убью его.

– Найдешь и убьешь.

– Сам. Потому что менты все равно никого и ничего не найдут!

Полина тоже была абсолютно убеждена, что никого и ничего не найти, именно поэтому ей так важно знать, трогал ли Троепольский Федин компьютер!

– Я не понимаю, зачем? – вдруг с силой произнес он. – За что, я не понимаю?! Федька! Он безобидный, как... дождевой червяк, черт возьми! Он вообще никогда ни во что не вмешивался, он за дверь всегда выходил, когда я... на Марата орал или на Сашку!..

– Тише.

Даже сейчас, в горе, и неизвестности, и потрясении, ей трудно было обнимать его... просто так. Слишком давно и слишком всерьез он был «мужчиной ее жизни», чтобы она могла взять и «выключить» все свои мысли о нем, все тяжкие думы о том, что все могло быть совсем по-другому, только захоти он, чтобы так было. Его вирус, когда-то отравивший ей кровь, никуда не исчез, она-то это точно знала!

Лучше б ей не знать.

Она знала, как он спит, как целуется, какие у него зубы и волосы на груди. Она знала, как он ест, – все равно что, лишь бы быстро и запивать молоком. Почему-то он все запивал молоком, даже водку, это было очень смешно, и очень по-детски, и нравилось ей, потому что ей все в нем нравилось! Она знала, каково это – заснуть и проснуться рядом с ним, в его запахе, тепле, в его мыслях, – они все были о работе и только одна – о ней, Полине. Но ей и одной было достаточно, правда!

Как-то сразу, в самом разгаре их романа, он понял, что на этот раз все гораздо серьезней, чем обычно, а дальше станет еще серьезней, и осторожно и нежно свел все на нет, как будто создал оптический обман – вроде ничего не меняется, и каждый новый день повторяет предыдущий, а когда она очнулась, он был уже далеко. Не вернуть.

Впрочем, его нельзя было вернуть, если он сам не хотел возвращаться, а он не возвращался никогда. Только вперед! Всегда.

– Ты что? – Кажется, он вдруг уловил ее напряжение, потому что отодвинулся и глянул ей в лицо.

Полина улыбнулась принужденной фальшивой улыбкой, взяла его за запястья и осторожно развела руки.

Он посмотрел на нее серьезно, моментально догадавшись, в чем дело. Он всегда и обо всем сразу догадывался – по крайней мере, о том, что касалось Полины.

– Брось ты, – сказал он негромко.

– Нет.

– Что – нет?

Все нет. Нет. Один раз она уже это проходила. С нее хватит.

Слишком близко он опять оказался и слишком... не вовремя. Никогда и ничего между ними не было возможно, а сейчас стало невозможно вдвойне – из-за того, что она знала, а он не знал.

Из-за Фединога компьютера. Из-за врага, неизвестного и оттого еще более опасного.

Троепольский вдруг обо всем позабыл – о раскуроченной Фединой голове, о собственном малодушии, о сослагательном наклонении, поминках тирана, о страхе и бессилии, которого он никогда не испытывал раньше. И о запахе тюрьмы позабыл, и о том, что должен спешить.

Очень давно он был с ней наедине. Тысячу лет назад, а может, десять. «Чашка кофе в середине рабочего дня» не в счет, а именно это он практиковал в последнее время.

Кажется, зима была или вот как сейчас – зыбкая грань, безвременье, смутное перетекание из одного в другое, ни в том, ни в другом нет ничего хорошего. Арсений тогда уже принял решение, только она еще ничего не знала. Он занимался с ней любовью, словно прощался, а ей померещилось, что наконец-то он понял что-то такое, чего не понимал никогда, – поэтому все так ярко, и остро, и необыкновенно. Вдруг ему показалось страшно важным вспомнить то, что он уже позабыл, – какая она с ним, как она дышит, двигается, молчит, стискивает зубы и таращится на него. Почему-то она никогда не закрывала глаз, все время смотрела на него.

Зачем вспоминать, когда так хорошо, так безболезненно все забылось?

Нет, не забылось, а словно окаменело и покрылось льдом. Эта самая глыба льда, внутри которой была их кратковременная сумасшедшая страсть друг к другу, словно торчала прямо посреди его сознания, и он все время натыкался на нее, обходил, перескакивал, старательно соблюдая правила, – не приближаться слишком, не рассматривать, не вспоминать.

Опасность он чувствовал, как волк.

Опасность, неотвратимость, неизбежность – приговор отложили на неопределенный срок, и точной даты приведения в исполнение он не знает.

Он понимал, что рано или поздно нужно будет избавляться от глыбы, потому что она постоянно угрожала ему, и знал, что вместе с ней придется выворотить

изрядный кусок собственной души. До появления в его жизни Полины Светловой он вообще не подозревал, что эта самая душа у него есть.

А теперь она страшно ему мешала.

Все его инстинкты вопили, что сейчас самое время сделать шаг назад, перевести дыхание, осмотреться, обрести независимость и равновесие, насколько вообще возможно обрести равновесие после того фортеля, что выкинул с ним Федя! Он злился на Федю потому, что тот так непоправимо и глупо взял и оставил его одного – не должен был.

Все инстинкты вопили, и только один, самый распоследний, запасной, шептал вкрадчиво – ничего, ничего, не спеши. Она твоя, и ты всегда знал, что твоя. Она была и осталась твоей – с той самой минуты, как пришла к тебе в контору на собеседование, несколько лет назад.

Тогда все было не то – жизнь не та, и контора не та, и столы, и стулья, и двери, только она была такой же, как сейчас, – очень высокой, с очень черными волосами и непонятными глазами. Они просто покоя ему не давали, эти глаза, может, потому, что за очками их было не рассмотреть, и он только и делал, что пытался заглянуть в них – все пятнадцать минут разговора. Это потом он узнал, как она умна, насмешлива, как неуверенно заправляет за ухо волосы, когда волнуется, как постукивает карандашом по зубам, когда думает, как помешивает кофе в большой голубой кружке со сложной двойной ручкой, когда выслушивает его руководящие указания. Троепольский сам придумал для конторы эти кружки и ручки и очень ими гордился.

С тех пор прошло десять тысяч лет.

– Ты... собирайся, – из глубины этих тысяч лет сказала она почти ему в ухо. – Нам ехать надо. И машину я поставила... кое-как.

– Да, – согласился он. Уху было тепло от ее дыхания.

– В этом вашем Центре машину поставить целая проблема!

– Да, – опять согласился он.

Она зачем-то оглянулась на свое ушастое чудовище, которое тряслось посреди кровати. Волосы, мазнувшие его нос, пахли духами, свежими и легкими, как она сама.

Он потер нос и поморщился. Она мешала ему, раздражала его, особенно когда была так близко.

– Ты бы... оделся, – настойчиво повторила она, и от этой ее настойчивости, означавшей, что она все понимает и дает ему шанс отступить достойно и красиво, он разозлился.

Не нужно ему никакого понимания и такта. Он сам может проявить сколько угодно понимания и такта! Зачем она приехала, черт бы ее побрал? Жалеть и раздражать его?!

От раздражения, воспоминаний, от того, что чужие равнодушные люди посмели думать, будто он, Арсений Троепольский, виновен в смерти своего заместителя, от запаха тюрьмы, который изнутри грыз его, ему показалось, что во всем виновата она.

Ну, конечно, она. Не он же, в самом-то деле!

Чтобы наказать ее – и себя! – за то, что она вечно лезет не в свое дело, за то, что смущает его, и он послушно смущается, Арсений решительно взял ее за подбородок и поцеловал. От злости, а не от нежности.

Подбородок был хрупкий и узкий, и совсем рядом – беззащитное и открытое детское горло, в котором что-то пискнуло, когда он приналег посильнее.

Ему требовалось выместить раздражение, и ни о чем другом он не думал, когда начинал, но он все забыл, оказывается. Все-таки забыл, несмотря на глыбу, торчавшую в сознании.

Он забыл, что с ней у него никогда не получалось так, как со всеми. Не получалось, и все тут. Всем на свете он всегда управлял сам – эмоциями, своими и чужими, выбором времени и места, любовным пылом, когда таковой время от времени настигал его.

Нет, не так. Пыл его настигал, только когда он сам разрешал себя настичь. Никто не мог им манипулировать, и позиция у него была совершенно неуязвимая, как у мальтийского рыцаря, защищающего родной остров.

Если хотите, вы можете меня получить, но только на тех условиях, которые ставлю я сам. Не раньше и не позже, не больше и не меньше, и за последствия я не отвечаю, потому что мне наплевать. И всегда было наплевать, и всегда будет. Если вам это не подходит – я никого и ни к чему не принуждаю. Путь свободен, дверь открыта – «этот ливень переждать с тобой, гетера, я согласен, но давай-ка без торговли», или как-то в этом духе.

А с ней – нет, не получалось. В этой игре их всегда было двое, от начала до конца. Он как будто каждый раз попадался, а инстинкты вопили – берегись, берегись!.. И только тот самый, запасной, шептал вкрадчиво – попробуй.

Ты только попробуй, и сразу все поймешь. То, что там, «с гетерами», не имеет никакого отношения ни к чему, правда. Ты попробуй вот это, когда ты ничего не контролируешь, когда зависишь от нее, боишься ее и побеждаешь ее. Ты только попробуй, и больше тебе не захочется ничего другого, потому что с самого начала всей пикантной затеи с появлением рода человеческого предполагалось, что в этом деле должны участвовать двое, именно двое, а не один, пусть даже такой сильный, как ты!

Губы раскрылись, дыхание стало глубоким и горячим, и руки обожгли его кожу.

Он не был к этому готов. Он все забыл.

В голове ничего не осталось – это происходило с ним всегда, когда она трогала его. Сердце остановилось. Мысли остановились. Потом сердце ударило, как электрическим разрядом, и оно рванулось аллюром, или галопом, или вскачь, или еще быстрее. А мысли так и не догнали его, остались позади, в оцепенении и безмолвии.

Волосы ее были черными, как у цыганки из песни, что день и ночь неслась теперь из всех машин и пивных палаток, черт знает, он забыл, как ее звали, ту цыганку. Очки с этой он снял – очень медленно, потому что ему страшно нравилось снимать с нее очки. Что-то необыкновенно сексуальное было в этом, запредельное, странное. Он снял и, пошарив рукой, пристроил их позади себя, и



взял ее за шею, и придвинул к себе близко-близко, и стал рассматривать ее глаза, и белую кожу, и висок с длинной прядью. И она медленно покраснела – она всегда краснела, когда он ее рассматривал, и это он тоже забыл.

– Обними меня, – приказал он. Именно приказал, а не попросил, потому что он всегда ей приказывал, а она слушалась – или делала вид, что слушается? Впрочем, сейчас ему некогда было вникать в такие тонкости. Она посмотрела на него со странным, будто укоризненным, изумлением. Он не обратил на это внимания. Заставил себя не обратить.

– Обними меня.

– Мы должны... ехать.

– Сейчас поедem. Обними меня.

– Там... все тебя заждались.

– Где?

– На работе.

– Подождут.

– Мы... правда должны ехать.

– Я знаю. Обними меня.

– Я... не могу.

– Почему?..

Он почти не отрывал губ от прохладной, бархатной, твердой щеки, которая словно отодвигалась, когда он прижимался к ней, и его это злило. И еще она так ни разу и не посмотрела ему в глаза, а ему неожиданно этого захотелось.

- Посмотри на меня.

Она взглянула и отвернулась.

- Что?..

- Арсений, нам... правда, надо в контору.

- Пока еще там начальник я. Когда захочу, тогда и приеду.

- Не... надо. Нам нельзя.

- Что ты заладила! - крикнул он. - «Нельзя, нельзя!..» Ты что, мусульманская жена, что тебе ничего нельзя?!

- Я не могу! - тоже крикнула она и даже топнула ногой.

- Зато я могу.

Он сжал руками ее голову и поцеловал по-настоящему, как не целовал уже тысячу лет. Или десять тысяч. И почувствовал движение нежного горла, и еще как она переступила ногами, чтобы прижаться к нему. Раскрытой ладонью она провела по его руке, от запястья до плеча, потом по шее, опять по плечам, а потом длинные пальцы оказались у него на груди. Он посмотрел на них.

В детстве ее учили музыке, он знал.

- Полька.

- М-м?..

- Ты...

- Что?..

- Ты меня... боишься?

Конечно, она его боялась, еще бы! Она нервничала в его присутствии, даже когда они были так называемыми любовниками и регулярно спали в одной постели.

Кроме того – и это всегда было понятно, – для него она оставалась просто еще одним эпизодом его бурной мужской биографии. А он для нее – «мужчиной жизни». Эта разница в их положении всегда заставляла ее нервничать.

– Я не хочу, чтобы ты меня боялась.

– Я постараюсь.

– Черт возьми, можно подумать, что мы в первый раз!..

Она посмотрела на него, и он моментально прикусил язык. Вовсе она не была пай-девочкой, Белоснежкой, Золушкой, послушной, нежной и благовоспитанной. С ней надо держать ухо востро – ошибок она не прощала. Он был уверен, что и в постели она его оценивает, и до смерти боялся на чем-нибудь проколоться. Об этом он тоже позабыл, а вот теперь вспомнил и перепугался. Да еще ее невозможная собака тарасилась на них с покрывала – уши в разные стороны, в выкаченных карих глазах скорбь и отчаяние.

Троепольский, изо всех сил стараясь быть на высоте, стянул с Полины тонкий свитерок, прицелился и поцеловал ее в изгиб длинной шеи, а потом пониже, над самой грудью, и, решив, что все сделано уже достаточно правильно, потянул ее на диван. Ждать ему было некогда.

И дернул его черт в эту самую секунду посмотреть на нее!

Да не черт. Тот самый запасной инстинкт все шептал – посмотри да посмотри. Он посмотрел.

У нее было насмешливое лицо – вот-вот расхохочется, даже губы сложились эдаким бантиком, и подбородок выпятился.

– Ты что?!

Она помолчала секунду, а потом ответила жалобно:

- Ты очень смешной, - и все-таки засмеялась осторожно.

- Почему смешной?!

- Не знаю. Ужасно смешной. И что тебе в голову взбрело ни с того ни с сего, что мы должны прямо сейчас?..

Ничего они не были «должны», наоборот, они как раз были «не должны», но она засмеялась, черт ее побери!

Женщины никогда не смеялись над ним. Особенно в постели.

Он резко притянул ее к себе, так что локтем она стукнула ему в грудь, и заставил перестать смеяться, и разметал в стороны все ее связные мысли, и принудил смотреть себе прямо в глаза, и захватил ее в плен, и поработил ее волю, и подчинил себе ее разум. Он умел это делать.

Очень быстро он пошвырял на пол ее одежду, и его джинсы тоже куда-то делись, и они оказались вдвоем на императорской кровати. Китайская хохлатая собака Гуччи твякнула то ли вопросительно, то ли жалобно.

Он все забыл. Он забыл, каково это - попробовать на вкус ее ключицы, или лодыжки, или сгиб локтя, или местечко на шее, под самыми волосами, и теперь вспоминал все, и оказалось, что ничего лучшего с ним не было последнюю тысячу лет. Или десять тысяч, он точно не помнил.

Почему-то в ту же секунду, когда они упали на императорскую кровать и собака Гуччи подалась от них в сторону, перестало иметь значение то, что они «не должны» и нужно спешить на работу, забылись запах тюрьмы и Федина смерть, и еще то, что никто не смел над ним смеяться, а она засмеялась, и теперь он «должен» вылезти из кожи вон, чтобы доказать ей... чтобы показать ей... чтобы заставить ее... чтобы... чтобы...

Она глубоко и коротко дышала и тарасилась на него, и от ее взгляда в голове у него будто что-то взрывалось, и осколки осыпались со стеклянным шорохом.

Сквозь этот шорох в ушах он слышал, как ревет кровь, и не понимал, чья это, его, или ее, или их общая – может, у них общее кровообращение?.. Все его инстинкты, основные и запасные, заткнулись и трусливо порскнули по углам, оставив его наедине с этим. Оно настигало его, и он уже понимал, что немного ему осталось, долго он не протянет, а почему-то казалось, что надо долго, чтобы она в другой раз не смела... или не могла... или не решилась... или... или...

Стало темно. Наверное, кончился день. Наверное, началась ночь. Или это что-то другое кончилось и началось?..

Вдвоем. И только вперед.

Однажды он видел волну – в Австралии, кажется, а может, в Малайзии. Океан был лохматый и страшный, взъерошенный трехдневным шквальным ветром. Пальмы стонали и почти ложились на песок, и ничего живого не было на берегу на многие десятки миль вокруг. Волна пришла издалека. Где-то там серое тяжелое мрачное небо навалилось на океан, взметнуло волну. Она шла, неотвратимая, огромная, стремительная, и было понятно, что, когда она рухнет на берег, настанет конец всему. Наверное, именно так выглядел Вселенский потоп, который видел перепуганный Ной в узкой щели своего ковчега.

Ничего нельзя изменить. Ничего нельзя отворотить. Ничего нельзя поправить, потому что поздно, поздно, потому что вот она, уже близко, и это вовсе не миллион тонн воды, а конец мира.

Он оглядывался на волну, ждал ее и боялся. И знал, что женщина, которая рядом, тоже ждет и боится. И все это было так же не похоже на обычные удовольствия, которые он практиковал, как вечерний прибой в городе Анапа на ту самую волну!..

Он смотрел ей в лицо и, кажется, понимал, что это катастрофа, катастрофа!.. И кто-то управлял им, потому что сам собой управлять он никак не мог и был весь мокрый, и от стиснутых зубов ломило в висках и в затылке, и он знал, что больше не может, не может, совсем не может, и тут волна рухнула на пустынный берег, залитый пеной яростного дождя, где на сотню миль вокруг не было ничего живого! Волна ударила его, потащила за собой, захлебывающегося, раздавленного, бездыханного, потому что внутри ее никак нельзя было дышать, и легкие словно выгорали изнутри, и, кажется, в эту секунду он увидел что-то

такое, чего никогда не видел раньше, и понял, что катастрофа – это совсем не страшно, и очень просто, и в ней, правда, есть что-то другое, чего не видно со стороны. И ему почудилось, что он видит это, и знает, и понимает – и тогда волна отшвырнула его, и он остался на берегу, залитом яростным отвесным дождем.

Совершенно один, на многие десятки миль вокруг.

Катастрофа.

Он очнулся, потому что рядом с ним происходило что-то странное, чего не должно было происходить. Он открыл глаза и посмотрел.

Потолок – белый. По краям лепнина. Бригада строителей делала ремонт и намеревалась положить полированные доски как раз по этой самой лепнине. Троепольскому было все равно, доски так доски. Приехала его мать и дала бригадиру по шее, это она умела. «Вы что, уважаемый? – спросила сердито. – Или вы тупой? Этим потолкам двести лет, а вы хотите безобразий сверху наколотить!» Бригадир раскаялся и «безобразий» не «наколотил».

Троепольский так и эдак изучил лепнину. Голова болела, как с похмелья, и по телу словно проехался паровой каток. Глазам в орбитах тоже было неудобно, песок, что ли, насыпался?..

Опять шевеление где-то рядом. Что за черт?!

Он стремительно приподнялся, охнул, потому что чернота вдруг залила мозг, сел и помотал головой.

В ней с шелестом осыпалась чернота, и он все понял.

Волна. Мировая катастрофа.

Придерживая голову рукой, он посмотрел вокруг и обнаружил Полину Светлову, сотрудницу и бывшую любовницу, только что опять ставшую настоящей. Она лежала на животе, на краю императорской кровати, довольно далеко от него.

Никаких признаков жизни не подавала.

Неужели умерла?..

- Польшка?..

Писк, похожий на мышинный, шевеление, он в панике отдернул руку, которой коснулось что-то мокрое и живое. Ему показалось – змея.

Конечно, это была никакая не змея, а голая хохлатая собака Гуччи, которая в истерическом припадке тряслась рядом с его ладонью, поскуливала, подергивалась и тыкалась в него то боком, то носом, косила карим глазом, встряхивала ушами «с начесом».

- Польшка, тут... твоя собака.

- М-м...

Так как она даже не шевельнулась, Троепольский подхватил Гуччи под голый розовый живот и, морщась от отвращения, ссадил на пол. Тот посмотрел на него с печальной укоризной и затрясся с утроенной силой. Троепольский отвернулся.

- Польшка.

Она шевельнулась и осталась лежать. Арсений сверху задумчиво посмотрел на нее.

Он очень быстро остывал и знал это за собой. Он уже думал «про другое», и теперь это «другое» не давало ему покоя. Не то чтобы он раскаивался в содеянном, но ему очень хотелось, чтобы этого «содеянного» уже как бы и не было. Может быть, именно потому, что этот раз оказался каким-то особенно... впечатляющим.

- Польшка, ты слышишь меня?

- Нет.

Он изумился.

- Нет?

- Нет.

Он перекатился на ее сторону и положил руку ей на спину. Спина была очень горячей, как будто температура поднялась. Она изогнулась – волосы перетекли по спине, – сняла его руку и сунула себе под щеку.

Троепольский замер.

Нежностей он не любил, считал, что они «расслабляют», а расслабляться ему было решительно некогда.

Федьку убили. Его самого три дня продержали в КПЗ. Он давно должен быть на работе. Он должен найти убийцу и вернуть разум сотрудникам, которые наверняка там без него совсем пропали, и работа пропала, и... Все, больше «падать в любовь» он не мог.

- Польша, нам надо... Надо вставать и ехать.

Она повернулась, не отпуская его руки, и он моментально отвел глаза.

- И собака твоя, наверное...

- Наверное, – согласилась Полина Светлова.

- Надо ехать.

- Понятно.

- Да ничего тебе не понятно!

Она разжала свои пальцы, державшие его ладонь, словно отпустила на волю.



– Тебе хочется сделать вид, что ничего не было?

Черт бы ее взял!

– Полька, мне некогда делать вид. Мне надо ехать и разгрести завалы.

– Разгребание завалов – очень благородное дело, – заключила Полина Светлова, подтянула длинные ноги, села и двумя руками откинула за плечи волосы. Троепольский опять отвел глаза. Волна, выбросившая его на пустынный берег, все еще не откатилась назад, и океан продолжал бушевать за спиной, и в висках ломило, оттого что он изо всех сил стискивал зубы, когда его швыряло внутри волны, и... и...

Зря он все это затеял. Не надо было. Недаром инстинкты вопили.

Неизвестно зачем он поцеловал ее в веко независимым и неловким поцелуем, имевшим условное название «спасибо тебе за чудный секс», слез с императорской кровати, суетливо подобрал с пола свои джинсы и резво потрусил в сторону ванной. Полина Светлова смотрела ему вслед, прищурившись. Собака Гуччи, в свою очередь, смотрела на Полину, выпучив глаза.

– Понял? – спросила Полина у Гуччи. – Вот такой он весь. Зачем мне его любить? Получается, незачем.

Гуччи потряс ушами в знак того, что совершенно незачем.

– Я его давно разлюбила. И вообще не любила.

– Полька, что ты там бормочешь?!

Она вздохнула. Разгромленная кровать приводила ее в смущение. Она встала и скинула на пол подушки и одеяло, чтобы разгром был более полный и менее красноречивый.

– Полька?!

- Варвара родила, - громко сказал она. - Иван Александрович звонил.

- Да ну?!

- Ну да.

- Кого?!

Полина нацепила трусики и лифчик и натянула свитер.

- Мальчика, конечно. Четыре килограмма, пятьдесят четыре сантиметра. Большой такой мальчик.

- Почему «конечно»?

- Что - почему?

- Ты сказала - «конечно, мальчика». Почему «конечно»?

Она раскинула на постели одеяло, от движения воздуха со столика разлетелись какие-то бумаги.

- Ну, это трудно объяснить. У них с Иваном мог родиться только мальчик. По моему, это очевидно. Девочки бывают у несколько других родителей.

Троепольский показался на пороге, уже полностью одетый - джинсы, черный свитер, очки, - но босиком. Полина отвела глаза.

- Шаманство какое-то, - сказал он, подумав. - Статистика свидетельствует, что...

- Вот у тебя точно будет девочка, - перебила она его, присела и собрала с пола бумаги. - И статистика тут ни при чем.

Он помолчал, а потом переспросил:

- Девочка?.. - и скрылся.

Полина посмотрела на бумаги, которые держала в руках. Все они были с работы. Дома Арсений почти никогда не работал, просто потому, что все делал в конторе.

Договор с Уралмашем, Полина посмотрела, подлинник или копия. Оказалось, подлинник. Зачем он принес сюда договор?..

- Троепольский!

- Что?.. Собирайся, сколько тебя ждать?

- Откуда у тебя дома договор с Уралмашем?

Он пожал плечами в отдалении.

- Шут их не знает. Захватил с собой, наверное.

Полина задумчиво перелистала бумаги. Синяя печать стояла на последней странице – та самая, за которой он поехал к Феде. Что-то мелькнуло у нее перед глазами, когда она листала, что-то черное, чего не должно быть на оригинале договора. Она перехватила плотные белые страницы и снова перелистала.

На обратной стороне третьей страницы черным фломастером было написано: «Смерть врагам».

Лера Грекова собиралась на работу. Работу она ненавидела, поэтому собиралась медленно, долго, уныло, раздражаясь все больше. Иногда она специально выискивала, на что бы обозлиться, и злилась от души, чтобы утро стало уж совсем гадким.

- Лерочка, – закричала мать из комнаты, как раз когда она достаточно обозлилась – все йогурты оказались вишневыми, а ей хотелось черничного, – ты еще дома, девочка моя?

- Да, – сквозь зубы отозвалась дочь так, чтобы мать точно не услышала.

- Лерочка!

Та молчала, глядя в розовую жижицу йогурта.

- Лерочка! Ты ушла?

Лера взялась обеими руками за крышку стола и ответила перехваченным от ненависти голосом:

- Я не ушла, мама.

- Лерочка, во сколько ты вернешься?

- Мама, я еще не ушла! Я не знаю, во сколько вернусь!

- Лерочка! - Мать показалась на пороге в пижаме и пушистых тапочках. Всю жизнь она любила оборочки, рюшечки, бантики, ленточки, пуховки и лебяжьи перышки неизвестного назначения. - Девочка моя, ты же знаешь, какие у нас проблемы!

Лера знала о проблемах. Федю убили. Конец прежней беспечной жизни.

Хуже всего то, что, хоть ей было очень жалко Федю, она чувствовала известное облегчение, как будто у нее вырвали давно болевший зуб, и ей все еще больно, и страшно, что будет, когда отойдет наркоз, и все же - свобода, свобода!..

Это чувство свободы было еще более гадким и скверным оттого, что она своими глазами видела убийцу. И теперь ей остается только повеситься - потому что она видела, потому что все это из-за нее, потому что тот человек очень умен, очень опасен, и она, Лера, кажется, готова на все, только бы отвести от него подозрения!..

- Лерочка, ты должна мне помочь, девочка. От бабушки никакого толку.

- Мама, отстань от меня!

– Лерочка, не надо так говорить с мамой!

Мать говорила о себе в третьем лице, когда хотела быть более убедительной.

– Лерочка, я сейчас поеду к бабушке и к тете, а ты должна съездить к Феде на работу и попросить их, чтобы они нам помогли. В конце концов, мы просто слабые женщины, оставшиеся без единственного мужчины!

Лера ненавидела выражение «слабые женщины».

– Господи, – вдруг воскликнула мать и окунула руки в волны фестонов и кружев на груди, – за что, за что нам такие испытания!..

– Ладно, мам, – буркнула Лера. – Прекрати.

– Лерочка! Впереди еще уголовное дело! Потому что мой брат, мой родной брат убит! В это невозможно поверить!

– Мама, замолчи.

– Нам даже не сказали, кто это сделал!

– Мама! – закричала Лера и шваркнула на стол почти полную баночку с йогуртом. Йогурт плюхнул наружу, забрызгал ее водолазку и джинсы. Лера сорвала с крючка полотенце и стала яростно оттирать пятна. Мать смотрела на нее с кротким недоумением – это она умела.

– Никто не знает, кто его убил, мама! Поэтому нам не сказали, черт побери!

Никто не знает. Только она, Лера.

Мать приблизилась, села на краешек стула и отломил кусочек сухого хлебца. Положила в рот и стала жевать, сделав задумчивые глаза.

– Такое несчастье, – прожевав, сказала она. – Жизнь несправедлива.

- Это точно, - буркнула Лера.

Федина смерть все упрощала - во много раз, но мать не должна об этом знать. Лере было жалко своего непутевого дядьку, ночью она даже поплакала потихоньку, чтобы никто не услышал, но подлая мысль, что он ни за что не дал бы ей жить так, как она собиралась, перевешивала все остальные.

Мать попечалилась немного и спросила деловито:

- А наследство? Когда мы сможем его получить?

- Я не знаю.

- Лерочка, это непременно нужно выяснить! Это очень важный вопрос. И налоги! Какие налоги мы должны заплатить? Марья Семеновна говорила, что сейчас с этим делом очень строго.

Марью Семеновну и налоги Лера вынести не смогла - в конце концов, Федя ничего этого не заслужил! Да, он мешал ей, и в последнее время она ненавидела его, остро и бешено, но все равно он не заслужил, черт возьми, таких разговоров, еще даже до похорон!

- Мама! Замолчи сейчас же!

- А что такое я сказала? И завещание! Он ничего не говорил тебе про завещание?

Дочь выскочила из-за стола, посмотрела бешеными глазами, кое-как обулась, и дверь бабахнула, закрываясь.

Мать пожала плечами, хотя никто не мог ее видеть - впрочем, как правило, ей было достаточно одного зрителя, самой себя.

- Вся в отца, - сказала она и пересела так, чтобы видеть себя в полированной дверце кухонного шкафа. - Тот был совершенно, совершенно ненормальный!

Полированная дверца отражала розовую щеку, пижамные оборочки и рюши, растрепанную легкую стрижку. Такая стрижка в салоне стоила сто пятьдесят долларов, а на туфли и стрижки денег она не жалела никогда.

Брат иногда кривлялся, давал меньше, чем нужно, но все-таки давал. Она усмехнулась, потянулась гладким и тоже розовым под пижамой телом и налила себе остывшего кофе из кофеварки.

«Галка, иди работай! – бушевал он в последний раз. – Ты же молодая, диплом у тебя есть! Ну сколько это будет продолжаться?! Я не могу всех содержать до смерти!»

До смерти, подумала сестра, прихлебывая кофе. До смерти. Смерть пришла гораздо раньше, чем предполагал ее брат. Как странно.

«Я не могу работать, – отвечала она ему, чуть не плача, – ты же знаешь, Феденька! Я не переношу чужих людей. Я... я устаю от них. Я не могу с ними. Они на меня... давят!»

«Ничего, совсем не задавят, – отвечал ее непробиваемый братец, – приходи к нам в контору, у нас как раз секретарша рожать пошла! Троепольский орал на всю контору. Давай, Галка! Я тебя возьму».

Но одна мысль о том, что она пойдет на работу – да еще секретаршей, прислужгой, девочкой на побегушках! – внушала ей отвращение и ужас. Брата она уже почти ненавидела – как он смеет предлагать ей подобную дикость?! Она окончила университет, она человек «с университетским образованием», и работу ей надо соответствующую – красивую, не требующую усилий, такую, чтобы все могли смотреть на нее и восхищаться ею! Какая еще секретарша!

Брат отвязался от нее, потому что она заплакала, а он не выносил женских слез. Но на этот раз плакать ей пришлось довольно долго. Между затяжными детскими всхлипами ее вдруг поразила ужасная мысль – ибо она всегда рыдала и думала о своем. Неожиданно она поняла, что в следующий раз ее рыдания не помогут. Федя даже не смотрел на нее, тарачился в свой компьютер, качал ногой в стоптанной тапке.

Она рыдала, а он качал ногой!

Она унижалась, а он смотрел в компьютер!

Она просила, а он раздумывал, дать денег или не дать – вполне мог и не дать!

А потом ему позвонили, и Галя поняла, что дело плохо – совсем. Просто хуже некуда. Брат говорил две минуты, и моментально вытолкнул Галю взашей, и денег дал, даже немножко больше, чем она просила, – все из-за звонка.

Она растерялась. Она не знала, что предпринять. Она начала было его расспрашивать, но Федор весело и решительно выставил ее за дверь, так и не ответив ни на один ее встревоженный вопрос.

«Ты должен быть осторожен, – умоляюще сказала она на прощание. – Очень, очень осторожен! С такими вещами не шутят, это... опасно!»

«Я и не шучу», – уверил он очень серьезно, и Галя ему поверила. Он не шутил.

Она ушла от него с явственным ощущением неотвратимости надвигающейся катастрофы и сознанием, что нужно что-то срочно предпринять – такое, что образумило бы ее несчастного брата.

Только... что? Что?!

Советоваться с дочерью было бессмысленно – она глупа, хоть и очень хороша собой. Впрочем, может быть, она так хороша собой именно потому, что глупа.

С матерью? Она еще глупее, чем дочь.

И Галя посоветовалась с Толиком.

Толик был ее любовником много лет – верный, славный, проверенный Толик, гораздо более надежный, чем самый преданный муж. Толик подумал и подтвердил, что дело плохо.

А потом... потом...



Галя поднялась со стула, зачем-то передвинула его к окну, потом вернула на место и поставила в раковину кружку. Смотреть на свое отражение ей больше не хотелось, словно она боялась увидеть там нечто такое, что свело бы ее с ума – вполне могло.

На засыпанном крошками кухонном столе валялись какие-то мятые бумажки, вытряхнутые Лерой из сумки. Она была патологической неряхой, ее дочь. Галя некоторое время раздумывала, что делать, – соблазн оставить все, как есть, был велик. Лерка приедет ночью, есть, пить и скандалить не будет, а завтра утром придет домработница и... что-нибудь придумает. Галя очень любила это выражение.

Федя «что-нибудь придумает», и деньги появятся как по мановению волшебной палочки.

Мама «что-нибудь придумает», и маленькая Лера целую неделю, а то и две, поживет с бабушкой, чтобы Галя могла спокойно отдохнуть.

Домработница тоже «придумает», и белье постирается, суп сварится, посуда помоется.

Чем разгребать этот дурацкий стол в неаппетитных крошках, гораздо лучше... полежать часок в ванне. Правда же лучше?

А если Лерка приедет раньше? Увидит, что мать даже чашку не помыла, разорется, и не остановит ее будет – вся в отца.

Двумя пальцами Галя взяла тряпку с края раковины – тряпка была мокрая и холодная, как жаба, – плюхнула в середину стола и повозила. Крошки посыпались на пол.

Вполне удовлетворенная результатами своего труда, она поволокла тряпку обратно, заехала в кучу бумаг, они разлетелись по всему полу, одна даже под плиту спланировала.

Галя поморщилась, переступила пушистыми тапочками, присела и стала собирать бумажки.

Конец ознакомительного фрагмента.

----

Купить: <https://tellnovel.com/ru/tatyana-ustinova/zapasnoy-instinkt>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)